



Эдвард Радзинский
О себе (сборник)

«Издательство АСТ»

2008

Радзинский Э. С.

О себе (сборник) / Э. С. Радзинский — «Издательство АСТ»,
2008

ISBN 978-5-17-055247-4

Страна наша особенная. В ней за жизнь одного человека, какие-то там 70 с лишком лет, три раза менялись цивилизации. Причем каждая не только заставляла людей отказываться от убеждений, но заново переписывала историю, да по несколько раз. Я хотел писать от истории. Я хотел жить в Истории. Ибо современность мне решительно не нравилась. Оставалось только выбрать век и найти в нем героя. «Есть два драматурга с одной фамилией. Один - автор "Сократа", "Нерона и Сенеки" и "Лунина", а другой - "Еще раз про любовь", "Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано", "Она в отсутствии любви и смерти" и так далее. И это не просто очень разные драматурги, они, вообще не должны подавать руки друг другу». Профессор Майя Кипп, США

ISBN 978-5-17-055247-4

© Радзинский Э. С., 2008

© Издательство АСТ, 2008

Содержание

Моя театральная жизнь	5
Отец	5
Первые уроки истории	7
Поход к Наполеону	9
«История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом»	11
Великий Сергей Митрофанович	15
Смерть поэтов	16
«Я помню день...»	19
Об истории	21
Цитаты	22
Галантный век	23
Казацкие сиятельства	24
Мой герой	25
Рыночный дьявол в Галантном веке	26
«Путь нашего театра лежит через Индию»	27
«Пьеса – это ребенок, которого посадили на горшок...»	28
«Любите ли вы театр, как люблю его я»	29
Конец «Астронома»	30
«Ну не могу я этого прочесть!»	31
И оно свершилось – чудо!	32
Гений Дау	33
«Ленком» в шестидесятых	34
«Здорово, Островский»	35
Остров	36
Большие деньги	38
Снимается кино	39
«Оправдаться – это можно, да не спросят, вот беда»	40
Еще раз про любовь	41
«Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России!»	43
Нос	44
Ночной звонок	46
«А мы с вами уже не умеем любить»	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Эдвард Станиславович Радзинский

О себе (сборник)

Моя театральная жизнь

Отец

Отец был интеллигентом, помешанным на европейской демократии. Он часто цитировал мне Томаша Масарика: «Что такое счастье? Это – право выйти на главную площадь и заорать во все горло: «Господи, какое же дурное у нас правительство!»... И глаза его становились влажными.

Его идолом был вождь кадетов Павел Милюков, его частый рассказ – как Владимир Набоков, отец знаменитого писателя, закрыл своей грудью Милюкова от пули и погиб сам. Отец восторженно приветствовал Февральскую революцию. Это была его революция, его правительство. «Его, как первую любовь, России сердце не забудет», – цитировал он чьи-то стихи о Керенском. Но несколько месяцев свободы быстро закончились, и к власти пришли большевики. Почему он не уехал за границу – он, блестяще образованный, говоривший на английском, немецком, французском и даже думавший часто по-французски? Обычная история: он любил Россию. В 20-х он редактировал одесский журнал «Шквал» и писал статьи под псевдонимом Уэйтинг, что означало «Ожидающий». Ожидающий возврата погубленного мира – мира Февральской революции, мира, где будет править первый свободно избранный русский парламент.

Однако первый русский парламент бесславно погиб (как и Февральская революция). Его заседания преспокойно прекратил полуграмотный матрос с револьвером. И под дулами наганов, под насмешки матросни, избранные народом депутаты, тесня друг друга, покорно заспешили к выходу. В профессию политика входит не только жизнь, но и смерть. Она подчас важнее его жизни. Но не нашлось никого, кто согласился бы умереть во имя свободы... Отец этого понимать не хотел.

Тот краткий глоток свободы – время митингов, надежд, свободы – воистину казался золотым веком в торжественно глухой тьме сталинской России.

В 20-х «Ожидающий» был уверен, что исчезнувший мир Февраля когда-нибудь вернется. А пока он писал сценарии для первых немых советских фильмов на знаменитой Одесской кинофабрике. Но вскоре наступила пора окончательного укрощения мысли. Гибель Авангарда и Утопии – создание сталинской тоталитарной империи.

Мы не позволим жандармским коленям,
Музу зажав, ей кудри остричь.
Будь они из Третьего отделения,
Или из Особого отдела Три, —
гордо писал поэт в 20-х.

Позволили, еще как позволили!

Интеллигенцию наградили страхом и немотой.

Но отец не роптал, он жил тихо, незаметно, точнее – существовал. Оставив журналистику, переводил пьесы с французского, писал инсценировки для театра. В том числе и по романам знаменитого в сталинское время писателя Петра Андреевича Павленко.

Любимым героем отца был философ-скептик Бротто из романа Анатоля Франса «Боги жаждут». И как франсовский герой печально-насмешливо наблюдал ужасы Французской революции, с той же печально-насмешливой улыбкой отец наблюдал жизнь сталинской России... с французским романом в руках.

Он учил меня размышлять, вместо того чтобы действовать. Он верил в изречение: «Кто действует, тот не размышляет». Он просил меня не забывать – даже маленькая монетка, поднесенная к глазу, заслоняет от тебя целый мир. Никакого фанатизма. Любовь к живущим, ирония и сострадание – таков был его девиз. Он был всегда мягок и вежлив и ненавидел спорить. И был прав. В российском споре, обычном споре до ненависти, всегда умирает истина.

И он любил повторять строки: «Но в мире все вмещает человек, который любит мир и верит в Бога».

И когда я с восторгом декламировал любимую строчку Маяковского: «Тот, кто постоянно ясен, – тот, по-моему, просто глуп», он только пожимал плечами.

Но однажды все-таки сказал:

– Это завет глупца. Постарайся запомнить другое... понять это сейчас ты вряд ли сможешь. И он заставил меня записать слова Сенеки: «Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца – как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего нам стремиться к мудрости: ибо мудрец без радости не бывает».

Почему его не посадили? Его защитила мощная фигура Павленко. Тот был автором сценариев двух самых знаменитых кинофильмов «Клятва» и «Падение Берлина». В этих культовых фильмах действовал сам Вождь. Романы Павленко тоже были знамениты. Четырежды ему присуждали Сталинскую премию первой степени. Согласно логике тех времен, арестовать отца – значило бросить тень на Павленко.

Но отец понимал: это когда-нибудь закончится.

И он ждал. Был даже собран узелочек на этот случай. Но, несмотря на эту жизнь под топором, он всегда улыбался. Я так и запомнил его с этой вечной улыбкой.

Он очень любил бунинские слова, которые бог весть как донеслись из эмиграции: «Хорошо было Ною – в его жизни был всего один потоп. Правда, потом пришел Хам, но ведь тоже всего один».

Слова эти часто повторял и знакомец отца Юрий Карлович Олеша.

Первые уроки истории

В 13 лет я начал понимать про Сталина, хотя тогда отец ничего не говорил мне о нем. Но у нас лежало Собрание сочинений вождя. И я с изумлением прочел его. И понял, что все эти ужасные расстрелянные «враги народа» были в свое время друзьями и союзниками Сталина.

Кроме того, к нам приходил некий мальчик Игорек, его кормили, давали ему деньги. И он уходил.

– Его отца посадили, – шепнула мне моя няня.

Няня, как я потом узнал, была дочерью кулака. Отца и мать выслали, а они с сестрой бежали из деревни, и перед бегством няня сожгла свою избу. Моя мать все это знала, но приютила ее.

Однажды я спросил отца о Сталине. Он ничего не ответил. А потом дал мне прочесть рассказ. В нем люди молились в храме божеству. А потом оказалось, что в алтаре за занавесью лежал гигантский спрут.

С 15 лет он стал пересказывать мне устные рассказы Павленко о Сталине. Как и опубликованные впоследствии рассказы Симонова, они были полны восхищения... Восхищения мощью диктатора. Умом диктатора. Юмором диктатора. Рабского восхищения. И отец это как-то легонько подчеркивал. И после каждого рассказа следовал его вечный рефрен: «Может быть, когда-нибудь ты напишешь о нем».

В детстве моим кумиром был Наполеон. Фантастический человек, вернувший в XIX век, обещавший стать веком буржуа и денег, безрассудное величие античных героев. Человек, отвергавший понятие «невозможно».

«Держайте!» – любимый лозунг Французской революции – его жизнь!

Я был плохим патриотом. Я много раз читал любимую книгу Тарле о Наполеоне, тщетно надеясь, что на этот раз великий Наполеон все-таки победит. Остров Святой Елены я ненавидел. В конце концов я научился читать книгу Тарле так, как мне хотелось. Я заканчивал читать ее конгрессом в Дрездене, где Наполеон собирал жалких, трепещущих европейских королей. Тридцать европейских монархов съехались поклониться ему. И прусский король, и австрийский император, и немецкие князья – стояли с покорно обнаженными головами, а он стоял перед ними в треуголке с кокардой Французской республики.

Я попросту теперь не читал дальше – ни про отречение, ни про Святую Елену.

Я не мог понять отца, который все пытался объяснить мне, что без острова Святой Елены, без трагического финала – нет наполеоновской легенды. «У меня были две короны – Франции и Италии. Мне не хватало третьей и самой главной – тернового венца», – цитировал отец слова Наполеона. Пытаясь объяснить: без страдания нет подлинного бессмертия. «Кто такая Мария Антуанетта без гильотины? Заурядная кокетка, носившая корону, как модную шляпку», – говорил отец.

Но тщетно. Я был здоровый подросток. Я не понимал радости страданий. Я понимал тогда только радость побед.

Илья Самойлович Зильберштейн был другом отца и редактором знаменитого «Литературного наследства». Он был знаменитым коллекционером русской живописи. Его квартира была увешана картинами великих мастеров.

– Это – Репин, – объяснял он мне, – очень редкая картина... И это тоже – Репин, а это – Серов...

Но я был равнодушен к его фантастической галерее, ибо там не было Наполеона.

Илья Самойлович решил исполнить мою мечту – он отвел меня к самому Тарле.

Поход к Наполеону

Я не знал тогда его удивительной биографии.

Евгений Тарле был знаменитым историком уже в начале XX века. Один из самых популярных профессоров Петербургского университета, он участвовал в демонстрации – получил удар казацкой шашки. С радостью встретил Февральскую революцию – стал членом Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царского режима.

При большевиках был избран в Академию, но...

Для большевистских историков он оставался подозрительным, «классово чуждым», несмотря на революционный шрам от казацкой сабли.

И уже в январе 30-го года Тарле был арестован. На инспирированном процессе Промпартии он фигурировал как будущий министр иностранных дел в правительстве заговорщиков... Но это была лишь «проба пера» будущих кровавых процессов Большого террора. Тарле посадили. Но сидел он всего полтора года в знаменитых «Крестах», после чего отделался высылкой. Сталин с недоверием относился к врагам Тарле – историкам-марксистам, как правило, почитателям Троцкого и прочих вождей революции. Уничтоживший их всех впоследствии, Сталин быстро вернул Тарле из ссылки. Более того, в разгар террора Тарле вернули звание академика. Сталин, смиритель нашей революции, благосклонно отнесся к его «Наполеону» – смирителю революции французской.

Теперь Тарле жил в знаменитом «Доме на набережной», большинство прежних обитателей которого лежали в бездонной могиле в Донском монастыре.

В этот дом и привел меня Зильберштейн.

Тарле шел восьмой десяток, и он был пугающе похож на Наполеона в старости. Он, конечно, это знал.

Во всяком случае, помню, он сидел под огромной гравюрой Наполеона.

Посещение меня разочаровало. Тарле как-то холодно выслушал мои восторги Наполеоном. И вообще, о Наполеоне, к моему разочарованию, в этот вечер он совсем не говорил. Вместо этого он долго и нудно рассказывал о классовых выступлениях французских рабочих в XIX веке. После чего они с Зильберштейном заговорили о письмах Герцена, выкупленных Зильберштейном за границу. Экземпляра «Наполеона» у Тарле почему-то тоже не оказалось. Вместо желанного «Наполеона» он подарил мне свою книгу «Жерминаль и Прериаль». Книга оказалась все о тех же французских рабочих и показалась мне невероятно скучной. Но главное – там не было Наполеона.

Отец выслушал с улыбкой мои разочарования и промолчал. Он не посмел мне объяснить: увенчанный славой старый академик попросту испугался. Испугался мальчишеских восторгов Наполеоном, как бы порожденных его книгой. Ведь Бонапарт был врагом России. И к тому же душителем революции. «Бонапартизм» – одно из страшных обвинений во время сталинских процессов. И старый Тарле поспешил подарить мне «правильную книгу» – о классовой борьбе французских трудящихся.

Друзьями отца были Виктор Шкловский и Сергей Эйзенштейн. У меня долго хранилось чудом уцелевшее раблезианское письмо Эйзенштейна к отцу с весьма откровенными рисунками. (Его украли из моего дома.)

Вообще, от отца осталось мало его личных вещей. Слишком много его знакомых отправились на тот свет, слишком много писем и фотографий ему пришлось уничтожить.

Отец окончил знаменитую одесскую Ришельевскую гимназию. Остались великолепные тома Шекспира и Алексея Толстого, которыми награждали лучших ришельевцев «за благонамерение и отличные успехи».

И осталась фотография. На ней – шестеро гимназистов, трое из них погибли в Гражданской войне, сражаясь на стороне белых.

«История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом»

Но один из бывших гимназистов-ришельевцев жил тогда в соседнем парадном. И часто навещал отца.

Его звали Юрий Карлович Олеша.

Я до сих пор его вижу... Он идет по весенней Москве, коренастый, в длинном, когда-то белом плаще.

И этот выдавший виды грязноватый плащ почти волочится по асфальту. И шарф как-то щегольски намотан на шею. И шляпа – широкая, тоже выдавшая виды, с опущенными полями. Из-под этих полей – его хищный нос, седые усы и беспощадный взгляд нашего писателя в несчастье...

Он входит в букинистический магазин. Букинист почтительно предлагает ему, видно, редкие книги. Стоя у прилавка, он листает страницы. Точнее – ласкает страницы... гладит, нежно переворачивает. А потом с какой-то яростной усмешкой возвращает книгу.

И старый букинист, понимая, покачав головой, ставит книгу на место.

У Олеша нет лишних денег. У него вообще нет денег.

Ибо он пьет.

В 20-30-х годах он гремел. Его повесть «Зависть» была не просто знаменита. Ее начало – эпатажная фраза: «По утрам он пел в клозете», – стала паролем тогдашней «крутой» интеллигенции. Но сейчас, в 50-е годы, его почти не печатают, о нем забыли, и Юрий Карлович Олеша – выпускник Ришельевской гимназии – приходит в наш дом к моему отцу, другому выпускнику той же знаменитой гимназии – поговорить.

Они разговаривают, а я стою под дверью и подслушиваю. Здесь, под дверью, я и получаю уроки Всемирной истории от Юрия Карловича. Я слушаю его бесконечный монолог.

Олеша: «Станислав, порядочный человек не может жить долго. Мы с тобой уже засиделись. Как любил говорить Ильф: «Можно уходить – нового нам здесь уже ничего не покажут...» Хотя я знаю, ты по-прежнему надеешься на мало предсказуемый бег нашей птицы-тройки. Вообще история очень печальная вещь. Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал. Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»

«Тс-с-с!...» – говорит отец.

«Ты думаешь, отрок подслушивает? Это не пугает.

В последнее время мне не хватает аудитории... Так я продолжу мысль, Станислав, цитатой из стихотворения:

Я тебе расскажу о таких дураках,
Кто судьбу человечества держит в руках!
Я тебе расскажу о таких подлецах,
Кто уходит в историю в белых венцах!

Или еще лучше: «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».

И он хохочет. А несчастный отец боится, что я перескажу эти стихи в школе. Он хорошо знает мою опасную память, тренированную память. Ибо каждый день он заставляет меня учить 14 строк из «Евгения Онегина».

«У Монтеня есть замечательное понятие – «бродяжничество мысли», – продолжает Олеша. – К старости выдумывать какой-то сюжет почему-то стыдно... Все, что мне приходит в голову, я попросту записываю на листочках, и они и должны составить книгу... и это интересно, потому что там нет вранья, ибо нет сюжета!».

И начинается «бродяжничество мысли». Он как-то сладострастно рассказывает, как разыграл Булгакова...

«1-е апреля, но по старому стилю, – очень удобный день для розыгрышей. Никто к ним не готов. Булгаков написал тогда письмо Сталину с просьбой его выслать или дать работу. Все ждали ужасного. Но я знал – обойдется. Потому что письмо присоветовал ему написать этот стукач... о котором, помнишь, были чьи-то вирши:

Он идет неизвестно откуда,
Он идет неизвестно куда,
Но идет он, наверно, оттуда
И идет он, конечно, туда...

И 1-го апреля, но по старому стилю, я позвонил Мише (с грузинским акцентом): «С вами будет говорить товарищ Сталин». Он тотчас узнал меня, послал к черту. И наверняка лег спать – он всегда спал после обеда. Но тут его разбудил новый телефонный звонок. В трубке сказали: «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». Он выматерился, бросил трубку, понял, что я не унимаюсь. Но тут же звонок последовал вновь, и раздался очень и очень строгий голос: «Не бросайте трубку, товарищ Булгаков, надеюсь, вам понятно?» И тотчас другой голос, с грузинским акцентом, начал сразу: «Что, мы вам очень надоели, товарищ Булгаков?»

«Бродяжничество мысли» продолжается:

«Ты знаешь, Станислав, мир спасет метафора. Вот я никогда не мог запомнить ни одной даты из истории, потому что как только читал дату, я ее уже забывал.

Но если все это прикрыть метафорой?.. Давай вдвоем писать Историю. К примеру: «Скифы с усами, седыми, как дым, жили в каком-то веке». Я буду писать «седыми, как дым», а ты, как не пьющий, будешь уточнять, в каком это было веке. Ты делаешь две ошибки в жизни, Станислав. Первая – ты не пьешь. И вторая – у тебя нет усов. Понимаешь, усы очень важны в нашем климате. Вот Чехов очень ценил усы, он написал: «Мужчина без усов, что женщина с усами». Но Монтень, он первый понял главное предназначение усов. Дело в том, что на усах мы приносим запахи женских поцелуев... О поцелуях читай у Боккаччо. Он писал, что, к сожалению, мужья никак не могут понять, как важно, когда их жен целует другой. Ведь от чужих поцелуев губы их жен... обновляются! Ты знаешь, Станислав, эротическая литература...»

И тут они переходят на французский! Которого я не знаю! На французский – в самом интересном месте! Перемежая французский изречениями на латыни! Которую я не знаю тоже!

Что делать, они были учениками царской, классической гимназии, а я – ученик нашей школы, которая справедливо называется «средней». Я – дитя проекта, который начался с лозунга, достойного героя «Бесов»: «Организованное понижение культуры». И придумал его интеллектual Бухарин! И продолжился сей проект знаменитым изгнанием. По ленинскому приказу полтора десятка ученых – цвет общественной мысли России – были выброшены из страны. И они брели по городу Штеттину, под руку со своими женами, толкая перед собой фуры с жалким скарбом. В этой знаменитой нищей процессии шли вместе: Бердяев, Ильин, Лосский, Кизеветтер, князь Трубецкой... кого там только не было! И все это закономерно заканчивалось

в 50-х правительством, во главе которого стоял недоучившийся семинарист; рядом с ним были вчерашний сапожник Каганович, вчерашний луганский слесарь Клим Ворошилов и символ интеллигентности, «русский Талейран», человек в пенсне, Молотов, едва закончивший реальное училище. Я был из страны, где необразованность стала синонимом лояльности.

Обычно конец их бесед был для меня опасен: «Дорогой Станислав! – говорил Олеша. – Не пора ли нам немного позабавиться? Призовем отрока, которому надоело ничего не понимать за дверью».

Я вхожу в комнату.

– Правда ли, ты учишь наизусть каждый день 14 строк Пушкина? Представляю, как ты должен его ненавидеть.

– Не обижай. Он разнообразен. Сейчас вместо Пушкина он учит речи Цицерона.

(В борьбе с моей необразованностью отец заставлял меня учить наизусть речи Цицерона. Речи мне понравились. И еще больше жизнь Цицерона. И уже вскоре в сочинении на тему «Кем ты собираешься стать?» я написал, что буду оратором. Изумленная учительница справедливо объяснила мне, что такой профессии у нас нет.

Она, правда, не объяснила мне, что ее нет и не будет.)

– Скажи мне, отрок, кто убил Пушкина? Только не вздумай отвечать, что это сделал Дантес! – начинает Олеша.

Он, улыбаясь, глядит на мои мучения и наконец сообщает:

– Пушкина убил... лирический герой молодого Пушкина!.. Станислав, не волнуйся, сейчас я ему все объясню. Лирического героя молодого Пушкина сам поэт справедливо называет как? «Повеса»! Он постиг что? Что «вечная любовь живет едва ли три недели».

И этот повеса знает только одного врага – это кто? Это муж... (отцу). Станислав, я его не порчу, поверь, он испорченней нас обоих, вспомни себя в его возрасте. Каждое новое поколение гордится, что оно испорченнее предыдущего... И он продолжил меня мучить. – И вот лирический герой А.С. приезжает в имение Каменку, или Каменку, я уж не знаю, как точно... Там живет его приятель, генерал Давыдов, милейший человек, которого он тотчас обзовет: «рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой». У Давыдова жена – прелестная женщина, урожденная герцогиня. Из знаменитого французского рода герцогов де Грамон – Аглая Антоновна. Что делает повеса А.С.? Он ее соблазняет и даже пишет стихи по этому поводу:

Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу;
Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.

Она его бросила. Посмела бросить!! Но лирический герой молодого Пушкина, как Вальмон из «Опасных связей», про которого ты тоже ничего не знаешь, этого не прощает! Он начинает отвратительно мстить женщине, с которой был близок. Он мстит бессердечно. Он ославил ее в чудовищной эпиграмме, где упоминает ее подлинное имя!

Иной имел мою Аглаю

За свой мундир, за черный ус,
Другой за деньги – понимаю,
Другой – за то, что был француз.
Клеон – умом ее страшая,
Дампе – за то, что сладко пел.
Теперь скажи, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

Таков его лирический герой! А каково... каково его кредо? Я обязан тебе рассказать:

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага...
Враг – это муж.
Приятно зреть, как он упрямо
Склонив бодливые рога,
Упорно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится.
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: «Это я!»
Но отправлять его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

Ты понял, что произошло? А.С. предсказал будущее. Все это случится с ним самим. Это история, отрок, об обязательном возмездии за Слово. К нему явится как бы его овеществленное Слово в лице Дантеса. Сам Пушкин в это время уже другой, он написал «Пророка». Но Командор неминуем. И лирический герой Пушкина, воплощенный в лице Дантеса, убивает мудреца Пушкина! А теперь иди, и... забудь все, что я тебе говорил.

И они остаются одни.

А я... я вновь перемещаюсь под дверь – слушать и запоминать.

Великий Сергей Митрофанович

Олеша и отец ударяются в воспоминания.

Олеша: «Королем метафоры был Хлебников».

Я уже знаю о Хлебникове. Я пытался читать его стихи, но ничего не понял. Но я знаю: он великий поэт. Отец объяснил мне: он поэт для поэтов. И только истинным поэтам открывается его красота!

Олеша рассказывает, как Хлебников читал стихи: «Он был наказанием для устроителей вечеров. Прочтет первую строчку, остановится и задумчиво скажет: «И так далее...» И уйдет».

Теперь они переходят к его смерти. Отец рассказывает о дружбе Хлебникова с нашим знакомым Сергеем Митрофановичем. Оказывается, с Сергеем Митрофановичем переписывался некий художник, в доме которого и умер загадочный Хлебников. И у Сергея Митрофановича хранится дневник смерти «поэта для поэтов».

Сергей Митрофанович – давний знакомый нашей семьи. Но совсем недавно отец рассказал, что «наш Сергей Митрофаныч» – не просто Сергей Митрофаныч. Нет ни одного великого в Серебряном веке, с которым он не был бы дружен. Сергей Митрофаныч был другом любимого мною Блока, он был другом Розанова, другом Мережковского и так далее. И Есенин, приехав в Петербург, пошел сначала к Блоку, но от Блока – к Сергею Митрофанычу.

Сергей Митрофанович Городецкий. Уже в начале XX века имя его гремело. Когда Распутин явился в Петербург, Городецкий издал свою первую книгу «Ярь», которая сразу сделала его знаменитым.

«Он, – заключает Олеша, – недобиток...»

Смерть поэтов

Между тем отец начинает пересказывать Олеше письма художника, у которого жил Хлебников, – рассказ о гибели великого поэта. И я пытаюсь их запомнить. (Впоследствии Городецкий даст мне прочитать эти письма, я скопирую их и опубликую в своей книге «Наш Декамерон».)

Эти письма меня потрясли. Был тогда общепринятый миф о Луначарском – последнем просвещенном министре культуры, заботливом отце интеллигенции... И в 60-х, когда очередной полуграмотный министр культуры РСФСР Попов спросил у скульптора Вучетича, почему у его скульптуры «Родина-мать» открыт рот, тот мрачно ответил: «Она зовет Луначарского!»

Но в этих письмах был иной Луначарский.

Переписка начиналась с письма художника Петра Митурича, родственника Хлебникова, Городецкому. Митурич писал:

«Сообщаю Вам следующее: Виктор Владимирович Хлебников спустя неделю по прибытии в деревню Сан-талово Новгородской губернии тяжело захворал: паралич ног. Помещен мною в ближайшую больницу города Крестцы. Необходима скромная, но скорая помощь, ибо больница не может лечить его без немедленной оплаты за уход и содержание больного (больница переведена на самоснабжение), и второе – не располагает медицинскими средствами для лечения. Лично мы с женой не имеем средств оплатить эти расходы, и поэту грозит остаться без необходимой медицинской помощи. По мнению врача, ему нужно следующее: 1) 50 г йодистого кальция, 2) мягкий мужской катетер (для спуска мочи), 3) 150–200 довоенных рублей. Прошу Вас ускорить оповещение общества посредством печати о постигшем недуге Велимира Хлебникова и о том, что он не имеет абсолютно никаких средств к существованию. Такое положение материальной необеспеченности и неколебимой сосредоточенности на своем труде и привело его к настоящему положению. До последнего часа он приводил в окончательный порядок свой многолетний научный труд – исследование Времени «Доски Судьбы»...

Пути сообщения таковы: Петербургское шоссе, город Крестцы, или по Николаевской ж. д. до станции Боровенка и на лошадях по Большому тракту 40 верст до Крестцы (на полпути – деревня Санталово, место нашего пребывания). Для телеграмм: Крестцы Новгородской, П. Митурич. Для писем: Крестцы Новгородской, деревня Санталово, Наталья Константиновне Митурич».

И страдавший в те годы безденежьем, как и вся тогдашняя интеллигенция, Городецкий начинает посылать нищему Митуричу какие-то деньги. И «оповещает общество» – обращается за «скромной помощью» к просвещенному наркому Луначарскому, подробно описав ему бедственное состояние несчастного поэта.

Просвещенный нарком ответил:

«Товарищу Городецкому С. М., Красная площадь, 1, от Наркома по просвещению. 4–7. 1922, № 7905.

Дорогой товарищ Городецкий! Я давно уже знаю о болезни Велимира Хлебникова. Первой сообщила мне об этом тов. Рита Райт. Я тотчас же ответил, чтобы она пришла ко мне для переговоров о том, что конкретно можно для Хлебникова сделать. Телеграфировать в Крестецкий исполком я, конечно, с удовольствием могу, но думаю, что это будет довольно-таки бесполезно. Очень хорошо, что вы посылаете туда деньги, но как сможет дать Хлебникову деньги Наркомат по просвещению – я не представляю себе. Дело в том, что совсем недавно РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция) предупредила нас, что за все случаи выдачи пособия ввиду болезни он (Наркомат. – Э.Р.) впредь, ввиду неоднократных нарушений его указаний,

будет предавать суду лиц, которые делают такие распоряжения. Вы ведь знаете, что вся помощь больным сосредоточена в Наркомсобесе и Наркомздраве. Легче, вероятно, было бы поместить Хлебникова в какой-нибудь санаторий за счет НКП (Наркомата просвещения. – Э.Р.), так как некоторое количество мест в санаториях, оплачиваемое из смет НКП, существует. Правда, я не знаю, имеются ли свободные места. Надеюсь видеть у себя Райт или Вас, чтобы можно было бы сейчас стелефонироваться с соответствующими органами НКП. Представлять себе дело так, что у меня есть какая-то касса, в которую мне стоит только опустить руку, чтобы оттуда взять сколько угодно миллионов для помощи тому или иному заслуженному лицу, абсолютно неверно. Это дело сложное, требующее постановления Президиума, Коллегии и притом могущее быть произведено только в определенных формах: помещение в больницу, оплата дороги и т. д.».

Пока утрясали «сложное дело», вырабатывали постановление Президиума, искали средства на 50 граммов йодистого кальция и мягкий мужской катетер для спуска мочи, поэт умер.

И вскоре Митурич прислал Городецкому дневник болезни и смерти Хлебникова.

«Дорогой товарищ Городецкий!

Посылаю вам ход болезни В.В. Хлебникова.

В. Хлебников родился 28 октября 1885 г. в селе Тундутове бывшей Астраханской губернии. Окончив в 1903 г. гимназию, Хлебников поступил на математическое отделение Казанского университета... (Далее зачеркнуто. – Э.Р.) Родные живут в Астрахани, Большая Демидовская, дом Полякова.

20 мая. Чувствовал вялость, жаловался на расстройство, пил черничный отвар.

23. Ноги еще хуже.

25. Принял глауберову соль, живот и ноги вспухли, принять льняное масло отказался.

26. Просил согревать ноги, потерял чувствительность ног. Бредит числами.

27. Жаловался на боль в сердце, просит свезти в больницу, ночью бредил числами.

28. Свезен в больницу Крестцы.

29. Выпущена моча, дано слабительное.

30-5. Улучшение.

6. Повышение температуры (39). Отказывался спускать мочу. Видел образы людей и чисел в цветах.

7. Опять видел образы людей и чисел. Ухудшение.

8-11. Общее ухудшение. Положение врачами признано безнадежным. Началась гангрена.

11-22. Общее ухудшение, душевное состояние спокойное. Видит образы...

23. Состояние болезни безнадежное. Врачи требуют взять из больницы. Привезен к нам в деревню Санталово.

24 июня. Наблюдалась рвота, речь спутанная, часто непонятная.

25. Заметно ослабел, не мог подниматься, видел образы людей в цветах, рассуждал о числах, говорил, что летал, хотел описать планету Юпитер (описывал планету).

26. Речь опять едва понятная. Просит самогонки.

27. На вопрос, трудно ли ему, ответил: «Да». И повторил: «Да!» Это и было его последнее слово...

28 июня в одиннадцать утра Велимир ушел с земли. Крестцы Новгородской губернии, деревня Санталово. Рост два аршина и 1/2 вершка, величина черепа 58 см. Похоронен двадцать девятого на погосте в Ручьях, в левом углу у самой ограды параллельно задней стене, меж елью и сосной. На сосне надпись и дата. На гробу написано «Председатель Земного Шара Велимир Хлебников». И нарисован земной шар».

Вот так, среди мучений и образов людей в цветах, ожидая йодистый кальций, сгорая в гангрене и путешествуя на планету Юпитер, умер Велимир Хлебников, именовавший себя иногда сокращенно «Предзем шара».

Впрочем, поэт Городецкий тоже фактически умер после революции, хотя еще жил.

Дочь Городецкого, красавица Ная, приходила к нам почти ежедневно. Она дружила с моей матерью. Ная – это сокращенно. Ее полное имя Рогнеда. Это варяжское имя – подарок ей от отца, воспевавшего когда-то языческих богов.

Сам Сергей Митрофанович – редкий гость, и не только у нас. Он почти не выходит из дома. Ибо он болен той же «русской болезнью», что и Олеша. Он пытается заглушить вином то, что происходит за окном, и то, что случилось с ним. Ибо знаменитый в прошлом поэт Серебряного века пишет теперь либретто для советских опер. Городецкий переделал знаменитую «Жизнь за царя» в советскую оперу «Иван Сусанин». И «славься, славься наш русский царь» удачно превратил в «Славься, славься наш русский народ».

Мандельштам записал страшноватые слова некоей старой осетинки: «Ты к ним, Ося, в колхоз не идешь, и я тебя понимаю. А ты иди, а то пропадешь...»

Мандельштам не пошел, и пропал.

Городецкий в «колхоз» пошел, он хотел жить. Люди этого круга говорили о себе: «У нас – «хвосты». «Хвостами» считалась та, прежняя, прекрасная жизнь.

И нынешняя ответственность за нее.

У Городецкого – большие «хвосты»: жизнь и слава в Серебряном веке и знакомство с царской семьей...

Это что – стоять за правду!

Ты за правду посиди...

– предлагал поэт в XIX веке... В идиллическом XIX веке стоявший за правду сидел один. В сталинском XX сажали семьями.

А еще точнее – расстреливали семьями.

И не за борьбу, за правду. Всего лишь за прошлое. За «хвосты».

Вот этого Городецкий не захотел. Он старался – писал то, что нужно новой власти. При этом думал, как многие: что сегодня он пойдет в их сторону, напишет все, что им нужно, а потом вернется и напишет другое, истинное. «Но беда состоит в том, – сказал однажды Анджей Вайда, – что когда вы идете в их сторону, помните: оттуда не возвращаются».

Городецкий не вернулся – он перестал быть поэтом. И потому смертно пил.

Но живым памятником исчезнувшего века он остался.

«Я помню день...»

И однажды оба выпускника царской Ришельевской гимназии решили направить ученика советской средней школы к Городецкому. Для расширения кругозора.

– Но все надо воспринимать высоко, – зверским голосом учил Олеша. – Отрок идет к Поэту, поэтому отрок должен преподнести ему Дар. Даром Поэту может быть только стихотворение. Стихотворение должно быть приятно Сергею Митрофанчу.

Было выбрано стихотворение, посвященное Иннокентию Анненскому (только впоследствии я узнал, что оно принадлежало расстрелянному Николаю Гумилеву):

К каким неожиданным и певучим бредням,
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский – последний
Из царскосельских лебедей.
Я помню день: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня с улыбкою учтивой
Слегка седеющий поэт.

– Вот, ты придешь к нему, откинешь ножку, прочтешь. Это прозвучит как бы о нем самом, и он будет доволен. Иди!

И я пошел.

Сергей Митрофанович Городецкий жил в доме 1 на Красной площади, который сейчас не существует. Это был дом, построенный в XVI веке. В нем когда-то останавливался Радищев.

Он открыл мне дверь сам. На красном, весьма разгоряченном в тот день лице, торчали огромные усы, видимо, хранившие много поцелуев. Он был в халате и несколько пьян. Он посмотрел на меня какими-то страшными глазами. И, не здороваясь, спросил меня яростно:

– Сколько сундуков открывает скупой рыцарь у Пушкина?

Я не знал.

Он вновь уставился на меня ненавидяще и сказал:

– Как отвратительно ты молод. Ведь ты будешь жить, мерзавец, когда я умру.

И начал читать.

Он читал как-то бешено, продолжая пугать меня взглядом в упор:

Как молодой (яростно – Э.Р.) повеса
Ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой,
Иль дурой, им обманутой,
Так я... —

и он начал приплясывать —

Весь день минуты жду,
Когда сойду в подвал мой тайный
К верным сундукам. Счастливый день:
Могу сегодня я в шестой!

И тут он закричал совсем страшно:

– Ты понял?! В ШЕСТОЙ... шестой сундук... в шестой сундук – сундук еще неполный...

Горсть золота накопленного всыпать!

Немного, кажется, но понемногу

Сокровища растут.

– Сокровища!! Сокровища! – вдруг пропел он и поволок меня к стене.

Торопливо снял со стены картину в деревянной раме. И за картиной обнаружилось отверстие.

– Иди сюда, – таинственным шепотом позвал он. Схватил мою руку и засунул в отверстие в стене.

– Чувствуешь?

Я наткнулся рукой на что-то твердое.

Он зашептал:

– Это клад. Вынуть его нельзя, потому что на нем крепятся балки... Проклятые балки и древний клад.

Глаза его горели!

Поэт не смог умереть до конца. И обычное крепление балок он превратил в сокровище.

Олеша как-то спросил меня:

– Ты так скверно и часто читаешь стихи, что мне кажется... ты наверняка мечтаешь стать актером. Выбрось это из головы. Ты слишком простодушен. Во Франции до революции только актеры и палачи не пользовались гражданскими правами. И во многих странах напряженно относились к лицедеям, умеющим сегодня притворяться воплощением добродетели, а завтра – зла. Люди театра коварны и неверны – таково это искусство. И таково это племя. Не ходи в актеры!

В актеры я не пошел. Я поступил хуже – я стал драматургом.

Об истории

Я, с гордостью могу сказать, закончил Московский историко-архивный институт с отличием, но... Но я не хотел стать историком. Дело в том, что страна наша особенная. В ней за жизнь одного человека, какие-то там 70 с лишком лет, три раза менялись цивилизации. Причем каждая не только заставляла людей отказываться от убеждений, но заново переписывала историю, да по несколько раз. И в своей пьесе «Снимается кино» я написал монолог историка:

– Я начинал историком в 20-х годах. Моя первая работа была о Шамиле. Шамиль как вождь национально-освободительного движения на Кавказе. Но уже в 30-х годах взгляды переменялись, и он стал считаться «агентом империализма». И я признал свою ошибку. Но во время Отечественной войны он снова стал считаться «освободительным движением», и я признал ошибкой, что я признал свою ошибку. Однако в 49-м году, когда началась борьба с национализмом, он снова стал «агентом империализма», и я признал ошибкой, что я признал свою ошибку, в том, что я признал ошибкой свою ошибку...

Я мог бы продолжить рассказ о бесконечных превращениях бедного Шамиля и в нынешние годы.

Эта анекдотическая история была закономерной. Михаил Покровский, вождь большевистской исторической науки, очень точно сказал о роли истории в России: «История – это политика, обращенная в прошлое».

Еще раньше задачу наших историков раз и навсегда определил Александр Христофорович Бенкендорф. Отец Третьего отделения сказал: «Прошлое России удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что только может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот с какой точки зрения следует оценивать русскую историю».

Эти знаменитые слова остались знаменем на столетия.

Мой учитель (произношу опять с гордостью) – великий историк Александр Александрович Зимин. Его труды охватывали почти тысячелетие в истории России – с IX по XVIII век. Но у него произошла беда, он усомнился в подлинности «нашего все». «Наше все» в истории – это «Слово о полку Игореве».

Точнее, посмел усомниться! И посмел бороться за свои убеждения.

В нормальной стране другое мнение рождает всего лишь дискуссию. Но не у нас.

Началась бешеная травля. В ней приняли участие и достойнейшие люди, которые сами когда-то многое испытали. Эта травля сыграла свою роль в ранней смерти ученого.

Наблюдая неистовость обвинителей, я вспоминал слова Белинского о травле Чаадаева, в которой так же принимали участие достойнейшие люди, страстно обиженные на «Философическое письмо».

«Что за обидчивость такая! Палками бьют – не обижаемся, в Сибирь посылают – не обижаемся... а тут Чаадаев, видите ли, народную честь зацепил – не смей говорить!.. Отчего же это в странах, больше образованных, где, кажется, чувствительность, должна быть развитее, чем в Калуге да Костроме, не обижаются словами?»

Впрочем, за посмертную судьбу Зимина можно было быть спокойным. Ибо в России вслед за холуйским негодованием непременно следует холуйское подобоострастие к тому, кто осмелился перестать быть рабом. В нашем обществе есть давний закон: все обиженные правительством становятся желанны и почетны... как только страсти поутихнут и опасность пройдет.

Цитаты

В той, советской, исторической науке существовала вещь, которая была мне глубоко противна. В любом исследовании должны были быть обязательные цитаты из классиков марксизма-ленинизма. Так что вся работа как бы становилась рабским доказательством этих цитат.

Цитаты из большевистских евангелий освещали и повседневную жизнь. В бесчисленных Домах культуры Ильич весьма часто учил со стен: «Искусство должно быть понятно народу!» Святая фраза, считавшаяся столь же непреложной, как «голубое небо». Она была камнем, на котором стояла идеология искусства шестой части света – социалистического реализма.

Как-то ночью, в половине второго, меня разбудил тревожный звонок. Звонил главный режиссер Театра имени Моссовета Юрий Александрович Завадский.

О нем мы еще поговорим дальше. Он был в самой что ни на есть ажитации. На восьмом десятке он сделал невероятное открытие, буквально перевернувшее все его мировоззрение. Он открыл подлинную цитату Ильича.

Оказывается, Ленин не говорил: «Искусство должно быть понятно народу». У Ильича он разыскал совсем иное: «Искусство должно быть понято народом».

– Значит, – счастливым голосом кричал он в ночь, – и сюрреализм, и авангард могут быть!!!

Могут! Конечно, могут, если это следует из Ильича! Так же, как если не следуют, – не могут! Все могла защитить и убить нужная цитата. Беда и головная боль были только в том, что у отца этих изречений Ильича в бесчисленных томах его Полного собрания сочинений очень часто были совершенно противоположные цитаты.

Главный идеолог страны Михаил Суслов, опасно похожий на иссушенного постами Великого Инквизитора, имел заветный ящик с цитатами классиков марксизма-ленинизма, которым он пугал не слишком образованных членов Политбюро. Впрочем, мог тут же успокоить – нужным толкованием.

Галантный век

Итак, я не хотел быть историком. Но я хотел писать об Истории. Я хотел жить в Истории. Ибо современность мне решительно не нравилась.

Оставалось только выбрать век и найти в нем героя. В веке сомнений не было. Конечно же, он... Век великой мощи индивидуальности. Век великих мудрецов и великих авантюристов. Когда путь из сарая во дворец и из дворца на плаху был так короток. Упоительный греховный век с лозунгом, провозглашенным герцогом Орлеанским: «Наслаждайтесь!»

Туалеты дам изысканны и сложны... В начале века царствует кринолин... И они плывут в своих неправдоподобных платьях, как корабли, неся на головах невозможные многоярусные гигантские прически (воздвижение подобной прически обходится в цену небольшого поместья)... Знатная дама могла раздеться только с помощью камеристки или любовника.

– Я уверена, что одежду изобрел какой-то безобразный карлик, – воскликнула в сердцах одна из них.

Галантный век, где главной войной была война за обладание женщиной. Где мужчины думали о том, как соблазнить женщину, а женщина – о том, как быть соблазненной. Век, наказанный за грехи Французской революцией, в которой мистически погибнут все ее отцы.

«Кто не жил в XVIII веке, тот вообще не жил», – вздыхал в XIX веке Талейран.

Героя мне искать не пришлось. Герой нашел меня.

В архиве совершенно случайно я наткнулся на документы о нем.

Казацкие сиятельства

Так началось мое первое путешествие во времени.

И уже вскоре я мог представить палящий зной, дорогу в Неаполь и вереницу карет. Это было посольство графа Андрея Кирилловича Разумовского. Я бы назвал его – посольством вечного изгнанника любви.

Граф Андрей был племянником Алексея Разумовского, знаменитого фаворита императрицы Елизаветы. Его дядя Алексей – сын казака, красавец, певчий. Алексея увидела в церкви дочь Петра Великого, молодая красотка Елизавета. И вот он уже «попал в случай». Ее Высочество влюбилась страстно. И когда дочь Петра стала Величеством, вчерашний певчий остался в постели императрицы. Двор прозвал его насмешливо: «ночной император».

«Ночной император» решил привезти в Петербург и своего брата Кирилла. Брат пас скот и в 15 лет был неграмотен. Когда приехали посланцы из Петербурга везти Кирилла в столицу, он залез на дерево – решил, что забирают в солдаты...

Кирилл оказался бешено талантлив. Он будет учиться в знаменитом Геттингенском университете. Еще вчера неграмотный, Кирилл станет президентом Академии наук, последним гетманом Малороссии и одним из главных придворных интриганов.

Но если Кирилл Разумовский был сыном казака, то его сын – уже отпрыск всесильного вельможи. Великолепный граф Андрей – красавец, как все Разумовские. И конечно же, истинное дитя Галантного века, то есть Дон Жуан.

Он становится другом наследника престола Павла Петровича.

Беда случилась, когда умерла жена наследника. Обнаружились ее письма к Андрею. И тогда Павел узнал, что красавец Андрей был не только его другом, но куда большим другом его жены. Вzbешенный Павел захотел вызвать его на дуэль, императрица с трудом его образумила. Екатерина была обязана семье Разумовских. Отец Андрея очень помог во время переворота. И она сделала то, что будут часто делать наши правители. Именуется: «посол вон!» Она отправила графа Андрея Кирилловича послом в Неаполь.

Но у графа было положительно пристрастие к коронованным особам. Приехав в Неаполь, он тотчас соблазняет... неаполитанскую королеву! Еще один скандал. Императрица вынуждена повторить: «посол вон...» Она отправила его послом ко двору матери соблазненной королевы – главной ханже Европы, императрице Марии-Терезии.

Во время этих скитаний по Европе из посольства графа Андрея ушел человек.

Мой герой

Мы так и не знаем, был ли он отпущен или стал, говоря по-нынешнему, невозвращенцем. Его звали Герасим Лебедев... Он был скрипач, причем великолепный. Уже вскоре его имя гремело в Европе. Он стал настолько известным скрипачом, что великий Гайдн в своих мемуарах не забыл написать о встрече с Герасимом Лебедевым.

Но тяга к странствиям гонит его по миру. И все заканчивается старой русской мечтой-сказкой – Индией.

Лебедев приплывет в Индию... Мадрас – владения Ост-Индской торговой компании. Торговля, денежная лихорадка, битвы за собственность – все радости рыночного дьявола. В Индии создаются великие состояния, отсюда возвращаются сказочными богачами. Но он артист и обольщен иным.

Индийская улица... Здесь показывают свое искусство они – бродячие музыканты, заклинатели змей, танцоры. И Лебедев решает увести с улицы на сцену весь этот пестрый, фантастический мир. Он покупает помещение и превращает его в театр, где властвует индийское искусство.

С этого момента он останется в истории Индии. Его новый и вечный титул – основатель первого ИНДИЙСКОГО театра европейского типа. Он это сделал!

Но дальше...

Рыночный дьявол в Галантном веке

То, что произошло дальше, было бы, наверное, очень понятным сейчас. Но тогда для меня эта история была несколько умозрительной.

Итак, вместе с театром Лебедева в Мадрасе существовал обычный европейский театр, принадлежавший Ост-Индской торговой компании. По мере того как театр Лебедева становился моден, театр Ост-Индской компании стал терпеть убытки. В него перестают ходить. И тогда владельцы театра, говоря современным языком, решили «наехать» на конкурента. Но сделали это в стиле Галантного века.

Однажды, идучи по улице, наш герой увидел, как несколько человек избивают одного. В традициях века Лебедев тотчас выхватывает шпагу и разгоняет мерзавцев. Спасенный оказывается столь нужным ему театральным декоратором. Причем настолько умелым, что вскоре наш герой делает его совладельцем своего театра. Ну а дальше – финал интриги...

Спасенный декоратор, конечно же, был подослан.

И подлинным совладельцем театра Лебедева теперь оказался... театр Ост-Индской компании. Лебедев потрясен. Он подает в суд. Разыгрывается процесс – точнее, состязание человека из феодальной страны, все время взывающего к совести и благородству, с законами рыночных отношений.

И Лебедев потерял свой театр. Он покидает Индию совершенно разоренным. Ему остаются лишь воспоминания о фантастическом театре... и место в будущих энциклопедиях по индийскому искусству.

«Путь нашего театра лежит через Индию»

Для меня сомнений не было. Это была та самая желанная история благородного Дон-Кихота. И, конечно, это должна была быть пьеса – театр в театре.

В это время все были увлечены итальянским неореализмом. Подлинность, простота, этикие обычные «трамвайные» лица – вот что ценилось в актерах. Исключительность находили в обыденности. Я все это презирал. И решил вернуть на сцену шекспировский театр страстей.

Я написал пьесу о вечном Дон-Кихоте и о фантастической стране. В джунглях прячутся развалины древних городов, и мистические факиры прямо на улицах беседуют со змеями, и брамины хранят тысячелетнюю мудрость. И нищие мудрецы удивляются глупости европейцев, тратящих бесценную, столь краткую жизнь на собирание бумажек, именуемых ими деньгами... Вся эта риторика была изложена белыми стихами.

Пьесу я отнес в Театр юного зрителя, удобно расположившийся через дорогу от моего дома.

Я перешел через тогдашнюю улицу Горького, через этот допробочный, достаточно пустынный тогда Рубикон.

Состоялась читка.

Прежний Театр юного зрителя, оправдывал тогда свое название. Он ставил пьесы для детей и подростков. Так что его актеры не были избалованы. Они добросовестно играли хороших пионеров, боровшихся с неуспеваемостью, их сверстников мальчишей-плохишей (в этих ролях блистал молодой актер Ролан Быков), играли зловещую Бабу-Ягу и честно воплощали в сказках грибы, лисиц и медведей в первом и втором составах. И вот, после всего этого я прочел им пьесу про страсти – про коварство и любовь...

Восторг был невероятный. Я до сих пор храню протокол этого обсуждения. Выступил Ролан Быков. Он сказал: «Путь нашего театра лежит через Индию».

«Пьеса – это ребенок, которого посадили на горшок...»

Ну что делает молодой человек, у которого так блистательно приняли пьесу? Он начинает легкомысленно ждать, когда ее поставят. Но те, кто собирается писать пьесы, должны знать: если пьеса начинающего драматурга принята в театре, это совсем не значит, что ее поставят. Более того, на 90 процентов ее там никогда не поставят...

Итак, время шло, а репетиции не начинались. Каждый месяц я надоедал несчастной заведующей литературной частью мучительным вопросом: когда? Когда вы начнете репетировать эту замечательную пьесу?

Она была изобретательна в ответах. Говорила мне: «Вы понимаете, пьеса – она, как тесто. Оно должно взойти, чтобы испечь пирог. А для этого нужно что? Время!»

В следующий раз она оказалась еще образней: «Пьеса – это ребенок, которого посадили на горшок: умейте подождать».

Так я ожидал бы, думаю, до сегодняшнего дня и оттого жизнь моя, может, была бы куда счастливей, если бы... Если бы Генеральному секретарю Никите Сергеевичу Хрущеву не пришло в голову поехать в Индию.

Во всех газетах описывали индийцев, кричащих загадочное «Хинди – Руси пхай-пхай», означавшее что-то очень дружелюбное.

Как я уже отмечал, мы – страна цитат. Поэтому должностные лица дружно начали искать, чтобы рассказать этакое о нашей вечной дружбе с Индией. Цитаты из Афанасия Никитина были повсюду и уже не радовали. Хотелось «свеженького мяса».

И вот в это время те, кому надлежало ведать культурой, узнали, что в Театре юного зрителя лежит сокровище. Пьеса о русском человеке, «внесшем большой вклад в историю индийского искусства», «о великих корнях нашей дружбы».

Причем это была не просто пьеса, а пьеса, написанная студентом. К тому же очень успешным студентом (в это время в журнале «ЮНЕСКО информейшн» я опубликовал содержание моей студенческой работы о Герасиме Лебедеве. Журнал «ЮНЕСКО» выходил на множестве языков. И со мной тотчас вступил в переписку индийский профессор, исследователь жизни Герасима Лебедева).

... И заметки о пьесе тотчас появились в газетах. Заголовок пьесы – «Мечта моя Индия» – оказался так своевременен в те дни цветения нашей бессмертной дружбы. И как хорош был подзаголовок статей: «Пьеса, написанная студентом»... Короче, если бы меня не было, меня следовало бы выдумать.

И, конечно же, немедленно начались репетиции. Причем с государственным размахом. Для дальнейшего укрепления нашей великой дружбы был приглашен из Индии индийский режиссер.

Он начал учить бедных артистов Московского театра юного зрителя индийской пантомиме. В пьесе был текст: «Тигр идет на врагов, кровь хлещет из ран. Он изгибается, готовится к прыжку, он не знал хитрого оружия, он хотел сразиться честно... и они убили его».

Наш индийский друг выходил на сцену. Изумляя оливковым лицом, пугая нездешней пластикой, он все это показывал. После чего просил повторить... Выходил на сцену артист Театра юного зрителя и начинал...

Было ясно – нам этого делать не надо.

«Любите ли вы театр, как люблю его я»

И вот в это время, проводя все дни в театре, я начал что-то понимать про театр. Точнее, про его кулисы... Ну написали вы книгу, ну, в лучшем случае, скажут вам – хорошо! Может быть, даже – замечательно! В театре подобные слова жалки. Настоящий театр знает одно слово – гениально! Там все гениально. Гениален режиссер, гениальны актеры, гениален драматург, правда, пока он работает в этом театре. Театр – это очень условное место, но самое условное в театре – это правда.

Я помню, как второй режиссер (который репетировал мою пьесу, прежде чем пришел главный) объяснял мне, что ужасней человека, чем главный режиссер, быть не может... Он – чудовище, которое вскоре придет и присвоит плоды его труда.

Я честно возненавидел главного режиссера. Когда буквально через два дня увидел, как они... мирно шли в обнимку и беседовали. Нет, нет, он тогда не лгал. Просто тогда это было тогда, а сейчас – это сейчас. Театр – это сейчас, это – мгновение.

И еще меня потрясла одна вещь, которая и в дальнейшем меня будет очень удивлять. Дело в том, что во время самой первой читки пьесы актерами как кто читал, так потом и играл. Кто читал хорошо, он и будет играть хорошо, кто читал не очень, он и будет играть не очень... несмотря на все многомесячные репетиции.

Итак, спектакль вышел. О нем было написано много хвалебных статей. Никогда в дальнейшем обо мне не будут так писать... и никогда у меня не будет такого провала!

Дело в том, что взрослые зрители, купив билет, сидят себе и смотрят на сцену, нравится им или нет. Ну не нравятся – уйдут в перерыве. Или досидят тихонечко, да еще похлопают благодарно в конце. Но мерзавцы-дети безобразно искренни. У них все понятно.

Успех сказки у малышей, например, определялся количеством выжатых тряпок. Когда добрую девочку Машу злая Баба-Яга заталкивала в печку, дети от страха не выдерживали... И чем больше было этих мокрых тряпок, тем оглушительней считался успех.

У меня были зрители постарше. Но и они бывали совершенно захвачены происходящим на сцене, хотя здесь уже обходилось без тряпок.

Но, не дай вам бог, если они не были захвачены!

Конец «Астронома»

Я это понял уже на первом представлении. Мой герой, который в самые трудные моменты раздражался монологами, вместо того чтобы колоть шпагой, им явно не понравился. Как и положено в XVIII веке, он часто «призывал в свидетели небо», и они быстро прозвали его «астрономом». Так что во время действия они в голос решали задачки и обменивались рассказами совсем не о моей пьесе. Апофеоз наступал перед последней картиной. В ней разоренный Лебедь горестно прощался с любимой Индией. Чтобы в последней картине приплыть в Россию...

Но встретиться с родной землей ему удавалось с трудом. После сцены прощания с Индией, решив, что пытка наконец-то закончена, юный зал дружно вскакивал и бросался к выходу. Но у дверей их ждала отважная «педагогическая часть» театра. Немолодые дамы мужественно сражались, отправляя их обратно. Но большинство все-таки пробивались в желанный гардероб.

Четырнадцать раз я выходил на сцену Театра юного зрителя раскланиваться с вмиг пустеющим залом.

Пятнадцатого не было. Пьесу сняли.

И вот тут бы мне и закончить. Я думаю, это был намек судьбы. Но в театре есть одна беда. В него очень трудно прийти, но уйти из него невозможно. Вы тоскуете по этому фантастическому миру, где все мираж, все представление, и все – «гениально!».

И я продолжил писать пьесы. Я писал пьесы, относил их в театры.

Пьесы нравились, но... ставить их почему-то не хотели. И тем не менее о моих пьесах стали знать. В газете «Советская культура» в обзорной статье о драматургии даже было напечатано об этих пьесах.

И Виктор Борисович Шкловский насмешливо сказал: «Вы заметили, что у вас уже слава, правда, она – подземная».

Но эта слава уже не радовала. В это время у меня уже была семья, должен был родиться ребенок. Мы снимали комнату и жили на подачки от родителей.

А я по-прежнему писал пьесы, которые никто не хотел ставить. И близкие смотрели на меня уже выжидающе – когда же, наконец, я займусь делом!

Единственным моим заработком были информации в московских газетах «Вечерняя Москва» и «Московская правда».

– Ну-с, какой у вас сегодня опус? – спрашивал заведующий отделом информации, читая мои очередные перлы:

«Поздней ночью на улицы Москвы выезжают белоголубые машины, разбрасывающие в обе стороны мощные струи воды. Это машины Второго механического парка... Алеют на Доске почета имена передовиков...» и т. д.

– Этот ужас мы берем. В нем необходимая краткость... а она, как известно, главная сестра таланта... Сеструху напечатаем... А вот другой опус, про ткачиху с «Трехгорки»... как ее по батюшке... для нас велик. Так что возьмите сей опус и суньте его в ж... -с.

Я тщательно проверял свои опусы. Я очень боялся допустить ошибки в фамилиях передовиков. Но заведующий успокаивал меня:

– Не волнуйся. Если мы вставим в твои опусы матерное слово, все равно никто не узнает... нас ведь никто не читает.

Но читал я. Каждое утро я мчался к газетным стендам – считать, сколько опубликовано моих строчек; сколько я за них получу.

«Ну не могу я этого прочесть!»

И свершилось! Подпольная слава помогла! Однажды мне позвонили из Радиокomiteта и предложили инсценировать для радио роман, который получил тогда Государственную премию.

С каким восторгом я согласился!

Роман оказался о Гражданской войне. Это был обычный тогдашний графоманский роман на нужную тему, написанный одним из секретарей Союза писателей. При этом роман был необыкновенной толщины.

Назывались подобные сочинения: «секретарская проза».

Я пролистал его и пошел на встречу с автором.

Как и положено, жил он в писательском доме. Хозяин встретил меня в халате. Мне дали чай с бубликами.

Он задал мне несколько вопросов. Я отвечал уклончиво. И он грозно сказал:

– По-моему, вы не читали моего романа. Идите! Идите и прочтите мою книгу! Книгу, которую вам поручили инсценировать!

Я честно прочел треть. Но осилить роман до конца было выше моих скромных сил. И, пробежав глазами остальное, опять отправился к нему.

Он вновь встретил меня в халате. Но чай на этот раз был без бубликов. Он сразу начал с расспросов. Спросил меня о судьбе героя-командарма.

Я рассказал. После чего он поинтересовался некими любимыми им деталями. Они оказались для меня непосильными.

Он сказал:

– Идите и читайте мою книгу!!

Я был почти, как его командарм. Я совершил подвиг – прочел необъятную графоманщину до половины. И остальное внимательно просмотрел. Мне очень нужны были деньги.

... Он сидел в ненавистном мне халате. Мне не дали чая. Я не успел сесть, когда он сурово спросил меня о судьбе какой-то девушки по имени Клава.

Я понял, что погиб. Но решил нагло отвечать. Там вроде была какая-то очень героическая девушка. И, когда я вдохновенно начал, он сказал:

– Никакой Клавы там нет вообще. Вы опять пробежали мой роман – мой труд! Вы в третий раз так и не прочли!

И тут совершенно неожиданно для себя с криком... «Ну не могу я этого прочесть!» – я бросился прочь из комнаты.

Он написал гневное письмо в Радиокomiteт. И оно мне очень помогло.

И оно свершилось – чудо!

Мне позвонил настоящий кинорежиссер. И это был не просто кинорежиссер. Теодор Юрьевич Вульфович был автором очень известного тогда фильма «Последний дюйм».

Оказалось, не ведая о том, я поднимался по ступенькам славы. История моих тщетных походов к секретарю-ромаиисту, наивно-подробно рассказанная им в негодующем письме, мой отчаянный вопль – все это очень веселило читавших жалобу. И они пересказывали эту историю друзьям.

Один из них и пересказал ее Вульфовичу.

Он попросил меня вновь рассказать всю историю.

Я рассказал в лицах.

Задыхаясь от смеха, он сказал:

– Я читал твой последний непоставленный шедевр... (Он имел в виду последнюю пьесу о физиках. – Э.Р.) Который он у тебя по счету – непоставленный?

– Третий.

– Мало. У тебя многое впереди. А пока мы напишем сценарий о твоём поколении. Это должен быть сценарий о молодых людях. Твоих сверстниках. В нём должно быть ощущение бури и натиска.

Вообще жизнь «идет полосами и похожа на тигра». И не только печаль не бывает одна, удача тоже бывает не одна.

В это время в Театре имени Ленинского комсомола приняли мою пьесу.

Гений Дау

Пьеса была о студентах-физиках. Физики были тогда властителями дум. Они, изобретшие самое страшное оружие уничтожения человечества, были окружены мистическим ореолом. Существовала стойкая легенда о том, что в мире, разделенном на два лагеря, они сумели создать некое надгосударственное братство интеллектуалов. И отвоевали себе право на независимость суждений. Даже Сталин вынужден был терпеть опасные суждения академика Капицы.

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе... —

писал в 60-х Борис Слуцкий.

Когда я работал над пьесой, мне посоветовали встретиться с кумиром молодых физиков, легендарным Дау (так прозвали великого физика Льва Ландау).

Я сумел достать его телефон. Отважился – позвонил.

К моему изумлению, величайший Дау сам подошел к телефону.

Растерявшись, заикаясь, я начал что-то ему объяснять. Он прервал:

– Давайте кратко: что вам от меня нужно?

Я (косноязычно):

– Мне бы поговорить.

Он:

– Приезжайте!

Я:

– Когда?

– Сейчас, – сказал он, продиктовал адрес и тотчас повесил трубку.

Я был потрясен. Ведь величайший Дау не знал про меня ничего.

И я приехал к нему.

Вошел в квартиру и сумел произнести только «Здравствуйте». И больше – ни слова.

Он обрушил на меня длинный монолог – водопад парадоксов. Он сообщил мне, что математики, как науки, вообще не существует, что это спорт, вроде игры в шахматы. И вообще, математику надо давно передать в институт физкультуры и спорта. И что ни одной из задачек по математике, которые при поступлении в университет задают абитуриентам, он, Ландау, не решил бы...

И так далее. Все это я записал и честно целиком вставил в пьесу.

Он закончил говорить и... простился со мной. Он так и не поинтересовался – кто я, что я думаю о сказанном. Я был ему неинтересен.

Как же распирала, раздирала его жажда говорить, точнее, мыслить вслух, еще точнее – эта игра в парадоксы, коли он мог целый час посвятить совершенно неизвестному, неинтересному ему молодому человеку!

Эту пьесу о физиках «Вам 22, старики!» и принял театр.

«Ленком» в шестидесятых

Театр Ленинского комсомола в это время, мягко говоря, не очень посещался. После смерти своего знаменитого главного режиссера Ивана Берсенева он потихоньку загнивал.

Но именно тогда в театр пришла группа молодых актеров. В моей пьесе играли те, кто потом пройдет через мою жизнь – Александр Ширвиндт, Михаил Державин и Ольга Яковлева.

Играл Всеволод Ларионов – актер, которым бредила страна. Он снялся в популярнейшем фильме «Пятнадцатилетний капитан». И в его героя были влюблены все девочки воистину необъятной тогда родины.

Ширвиндта я узнал раньше. Впервые увидел его в Театральном училище имени Щукина (или попросту в «Щуке»), где вместе с ним училась моя первая жена. Узнав о моем возрасте (я придумал жениться в 10-м классе), он тотчас посоветовал ей подарить мне на свадьбу пионерский галстук.

Увидел я его в спектакле Театрального училища. Играли «Даму с камелиями». Он вышел на сцену... Был неправдоподобно красив. Естественно, играл Армана... Появилась и она – трагическая Маргарита Готье, «дама с камелиями». Дама старательно закашляла, намекая на свою смертельную болезнь. Ширвиндт посмотрел на нее взглядом удава. И спросил печально:

– Ну что, все кашляешь, да?

Зал зашелся от смеха, на этом спектакль, пожалуй, и закончился.

В моей пьесе у него была реплика, которую он сделал бесконечной.

По роли это была несложная присказка: «Вот такие помидоры...» Он разбросал эту присказку по всему тексту. Но перед каждым повтором он задумывался, смотрел в зал гипнотическим взглядом и после этого философского раздумья заменял «помидоры» на что-то вроде: «Вот такие огурцы...» И зал почему-то начинал смеяться. Перед каждой новой присказкой его раздумье в поисках нового фрукта-овоща увеличивалось... Тут были корнишоны, финики, гранаты... Он был изыскан. Теперь он еще не открывал рта, а зал уже хохотал... И когда, уже уходя со сцены, он вдруг оборачивался и произносил: «Вот такие...» и останавливался в самом долгом, томительном раздумье, по залу прокатывались уже какие-то безумные смешки. Но он все держал томительную паузу раздумья. И наконец как-то совсем элегически договаривал: «... патиссоны». Зал заходил в истерическом смехе.

Он был артист!

На этом спектакле Театр Ленинского комсомола (редкий тогда случай!) был полон.

«Здорово, Островский»

Я был обременен семьей, и строка: «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», – звучала для меня очень насущно. Я очень хотел побыстрее получить деньги, которые театр должен был заплатить за пьесу.

Но в Театре Ленинского комсомола был настоящий директор. Настоящий директор отличается от просто директора тем, что платить деньги молодому драматургу он физически не может. Поэтому каждый раз, когда я подходил к нему с вопросом: «Когда?», – он весело спрашивал:

- На хлеб с маслом есть?
- Есть! – растерянно отвечал я.
- Ну, вот и хорошо, – и, поощрительно хлопнув меня по плечу, исчезал в кабинете.

Его кабинет был рядом с великолепной мраморной лестницей театра.

Здесь, у лестницы, я и караулил его. Он сбегал с лестницы, возвращаясь в кабинет после очередной репетиции. Но я не успевал раскрыть рот... Весело ударив меня по плечу, с возгласом: «Здорово, Островский!» – он стремительно исчезал в кабинете.

В следующий раз было: «Здорово, Грибоедов!» И он также исчезал в кабинете, куда мне дорогу тотчас преграждала секретарша:

- У Анатолия Андреевича важное совещание.

Я был Сухово-Кобылиным, я был Бомарше, я был даже Шекспиром... Но денег он не платил.

Однажды я не выдержал и в гневе бросился за ним, секретарша не успела меня остановить. Я влетел в кабинет, но там... никого не было!

Запомните: настоящий директор театра может все – даже исчезнуть!

Остров

Все это время мы с Вульфовичем придумывали сценарий. Я был городской человек и потому ветер странствий меня манил. Я придумал сюжет о некоем парне с какого-то далекого острова. Он приезжает завоевывать Москву. Поступает... здесь сомнений не было... поступает в легендарный Физтех (Физико-технический институт).

Оставалось найти остров. В Ленинской библиотеке я нашел в какой-то книге некий остров в Каспийском море. Там с конца XVII века жили беглые староверы. Они летом рыбачили, зимой били тюленей.

Там я решил поселить своего героя.

И мы с Вульфовичем отправились на этот остров.

И началось путешествие. Мы приехали в Махачкалу. От Махачкалы до берега Каспия вез автобус, где в невероятной духоте ехали вместе люди, птицы, животные – козы и куры, но окна нельзя было открывать – летел песок.

С островом я не ошибся – остров оказался великолепен.

Старинные дома... В домах – бронзовые складни XVIII века, старинные иконы староверов и рукописные Библии в горницах – в красном углу.

Дома стояли высоко, на насыпном фундаменте. Великолепные резные деревянные «севрюги»-флюгера ворочались под ветром. Каждый вечер бабы влезали на крыши домов – высматривать возвращавшихся с лова своих мужиков.

Когда-то море плескалось у окон домов, и прибой подходил к заборам. Но уже давно море ушло, и, чтобы теперь дойти до него, нужно было пересечь пустую, растрескавшуюся землю. И каждый раз, возвращаясь по этой земле домой, неся с собой тяжелые багры и сети, рыбаки кляли море за то, что оно ушло, за то, что оставило им никчемную землю, по которой так тяжело ступать уставшими ногами.

Я никогда не забуду бескрайнее небо над островом – «открылась бездна, звезд полна...».

На необитаемой стороне острова жил табун диких лошадей, одичавших после войны. Там жил и единственный волк. Всех волков истребили, а вот этого, одного, оставили. Волк жил в камышах и боялся людей и лошадей. Оттого пришлось ему научиться питаться рыбой. На рассвете он шел к морю, заходил по щиколотку в воду и на меляке ловил рыбу. Он бил ее лапой, выбрасывал на берег, раздирал – песок вокруг был залит холодной рыбьей кровью. И горько выл.

Здесь же стояли вытащенные на берег старые, отслужившие сейнеры. Кладбище кораблей, ржавевших на берегу... И когда мимо проходили катера – сквозь стрекотание мотора становился различим тонкий, дрожащий звук-стон. Это резонировала обшивка мертвых кораблей.

После каждой зимы кого-то из рыбаков уносило на льдине... Но море обязательно возвращало свои жертвы. Оно выбрасывало утопленников вечерним прибоем на пустынные дальние отмели. Они лежали там, под стынувшим вечерним небом, вместе с досками разбитых лодок, бревнами сплавного леса и чересчур игривыми тюленями, запутавшимися в сетях. И так же белели их тела под вечерним небом, как доски, бревна и мертвые тюлени. Каждое воскресенье родственники брали в колхозе грузовик и объезжали остров по кругу, высматривая своих.

Единственным центром веселья на острове был клуб. Здесь по вечерам были танцы, и каждый танцевал то, что умел: кто польку, кто вальс, кто танго. По выходным показывали кино.

В выходные на остров порой заходила флотилия Гослова. Молодые ребята в расклешенных брюках приходили в клуб, неся на плечах подвыпивших товарищей – пусть тоже посмотрят кино... Товарищи мирно лежали у стены, и, когда в зал кто-то входил, его вежливо просили: «Не наступи!»

... Ночь на острове. Тишина. Море лежит неподвижно, и дорожка луны на воде не беспокоится, не мерцает, стынет голубым огнем...

В бухте, прямо на палубах фелюг, раскинув руки, спят приехавшие рыбаки. Жирно блестя намазанные лица – мазь от комаров, а то сожрет их ночью комар. Тяжело ступая по доскам, кто-то пробирается с фелюги на фелюгу, прочеркнула темноту брошенная сигаретка. Потом смех и приглушенный счастливый женский голос:

– У, медведь! Руки-то шершавые... как терки...

– Да, после наших рук хоть ежа за пазуху суй...

Рассвет... Бабочка слетела с рубки и ударила в лицо. Огни фелюг в море холодно догорают, а на небе отходит последняя звезда-зарница...

И там, вдали, где небо сливалось с морем, где в детстве был край его, радостно дымился неясный свет...

А за ним уже кипел пожар. Длинное облако приняло невидимые лучи, побагровело. Всюду задрожал красный отблеск... Все сдвинулось, заходило. Краски падали, умирали, обновлялись. И с непостижимой быстротой оттуда, из-за моря-океана, вставал пламенный шар. Вот уже показалось его темя, вот уже поднялся крестец. Вот уже он оторвался и пошел гулять над горизонтом. Встало солнце.

И я написал с Вульфовичем сценарий.

Там были не очень принятые по тем временам монологи. А поэтому началась обычная редакторская чистка.

Вульфович почти мальчиком ушел на фронт, прошел всю войну и остался жив. Он был бесстрашен. Он бился, ругался последними словами. Но все равно монологи погибли при цензурных исправлениях. Остались отдельные слова: «Идем вперед и рушим прежних кумиров. И все мы отдадим жизнь какой-то идее. А потом кто-то докажет, что мы ошибались. И это здорово. Наука – это вечный голод мысли».

Сценарий приняли на «Ленфильме». Впервые в жизни я получил «киношные деньги» – огромные по тем временам.

Я стоял у кассы, и кассирша говорила:

– Зачем вам, такому молодому, такие деньги?

Тогда молодые больших денег не имели.

В тот же день мы с Вульфовичем уезжали в Москву – на обсуждение принятого сценария. В Ленинграде меня поселили в дешевой гостинице далеко от вокзала. Добирался до Московского вокзала со множеством пересадок. И чуть не опоздал на поезд.

Нервно расхаживавший по перрону Вульфович был зол. Я был еще злее. На странный вопрос: «Что случилось?», – я злобно начал перечислять все виды транспорта, на которых добирался.

– А такси, чертов богач, ты взять не мог? – спросил он.

Я... забыл о существовании такси. Слишком долго они ко мне не имели никакого отношения.

Но уже вскоре я привык – и к такси, и к другой жизни.

Большие деньги

В это время я стал моден на «Ленфильме». И меня вызвал знаменитый директор киностудии Илья Николаевич Киселев, по прозвищу Дуче.

Была знаменита его крылатая фраза, обращаемая к режиссерам студии:

– Вы должны помнить... постоянно помнить, что скажет о вашей картине простая русская женщина Марья Ивановна Распиз... ева.

Светлый образ Марьи Ивановны Распиз... евой присутствовал на всех обсуждениях.

На очередном Съезде кинематографистов Киселев вышел на трибуну и привычно начал:

– Искусство должно быть понятно народу. Работники советского кино не должны забывать о простом зрителе, о человеке из народа – Марье Ивановне... – Он вдруг побледнел, остановился. И после мучительной паузы вымолвил:

– ... Ивановой.

Зал умер от смеха. Когда смех затих, растерянного Илью Николаевича успокоил чей-то голос из зала:

– Ничего, ничего... Она просто вышла замуж.

(Впрочем, ее нетленный образ волнует и поныне.

Правда, она еще раз вышла замуж и получила иностранную фамилию – Рейтинг. И о ней, следуя заветам Ильи Николаевича, постоянно думают труженики кино и ТВ.)

В тот день Илья Николаевич сказал мне:

– Ролан (Быков. – Э.Р.) хвалил тебя – сказал, что ты здорово пишешь диалоги. Мы тут снимаем фильм про юность Ильича, но там говенные диалоги – не мог бы ты переписать? А мы тебе заплатим, – он подумал и сказал, – как за половину сценария. Для тебя это работа на неделю.

Это были большие деньги. К тому времени я уже научился тратить деньги. И мне опять не хватало. Теперь мне не хватало больших денег.

Но я как-то ясно понял: если сейчас соглашусь – мне конец. Я окончательно привыкну жить на широкую ногу. А это значит, мне придется научиться писать то, что нужно. И халтурить, халтурить!! Как он и предлагает мне сейчас. Но в это время я придумал сюжет будущей пьесы. Пьеса называлась «104 страницы про любовь». Она совсем не была «то, что нужно». И я отчетливо понял – если соглашусь, я ее похороню.

Косноязычно я начал отказываться.

Он прервал меня, походил по кабинету и сказал:

– Понимаешь, это наш козырь к юбилею Ильича.

А диалог, повторю, там – х... й. Ну, черт с тобой, мы заплатим тебе за этот диалог... – и он закончил щедро, – как за целый сценарий!

Он смотрел на меня почти с изумлением, он видел, я колеблюсь. И решил добить меня:

– Ты понимаешь, это ведь государственный заказ... Там ведь, в госзаказе, совсем другие деньги за сценарий... а еще – потиражные... Ты представляешь, какой будет тираж у фильма про Ленина!

Он был прав – он предлагал огромные деньги.

И я не мог ему объяснить.

«Не сумею!» – как-то жалко сказал я и... ушел из кабинета.

Снимается кино

В это время всюду шли съемки в Москве.

Вульфович был первым, кто снял эпатажную по тем временам сцену чтения стихов модными тогда молодыми поэтами. Знаменитый эпизод в Политехническом из фильма «Застава Ильича» сняли потом.

Наша съемка была ночью – на площади Маяковского. В период хрущевской «оттепели» там читали по вечерам самодеятельные поэты. Вскоре это чтение прикрыли. И не просто прикрыли – вокруг памятника по вечерам дежурили дружинники.

Вульфович решил возродить запрещенное.

Но в фильме у памятника Маяковскому должны были читать стихи тогдашние власти-тели дум – Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский. Массовку собирать не пришлось. Сотни молодых людей, откуда-то узнавших, что «опять будут читать» и, главное, кто будет читать, окружили памятник.

Евтушенко читал о кубинском юноше Мансано, захватившем радиостанцию и успевшем сказать в эфир «три минуты правды», прежде чем его убили... Там были строчки: «Когда в стране какой-то правит ложь, когда газеты лгут неумолимо», – и в этом месте камера у нас шла вверх, захватывая светящуюся рекламу газеты «Известия»...

«Ты помни про Мансано, молодежь, – читал поэт. – Так надо жить! Не развлекаться праздно! Идти на смерть, забыв покой, уют! И говорить хоть ТРИ МИНУТЫ правду! Хоть ТРИ МИНУТЫ, пусть потом убьют!»

Рев восторга и аплодисменты – толпа обожала главную тогдашнюю смелость: намеки.

В фильме впервые снялись Юлий Ким и Юрий Коваль со своими песнями. Очень модные тогда скульпторы Николай Силис и Владимир Лемпорт сделали декорации и тоже снимались. Главную роль играл оператор знаменитого параджановского фильма «Тени забытых предков» Юрий Ильенко.

Это была попытка показать лица нового поколения.

А потом была экспедиция на «наш остров». И я с ужасом наблюдал обычную картину – как киноэкспедиция весело «разложила на атомы» патриархальную вековую жизнь. Забавы с островными девушками очень напоминали стрельбу по непуганым птицам.

Но фильм был снят. И тотчас, как под каток, попал под посещение Хрущевым выставки в Манеже и разгром тогдашнего неофициального искусства.

Фильм принимали несколько раз. Вульфович на многочисленных обсуждениях по-прежнему был бесстрашен, он «вел себя как фронтовик среди тыловых крыс» (его слова). Крысы не простили. И страшновато не простили.

У него будет печальная судьба в кинематографе. После «Улицы Ньютона, 1» ему дадут снять всего одну картину, а дальше – тишина.

В кино он вернется слишком поздно, потеряв лучшие годы.

Изуродованный фильм с вырезанными сценами, с кастрированными монологами, был изруган в прессе последними словами.

Одновременно был закрыт и спектакль в Театре Ленинского комсомола.

«Пруха» закончилась.

«Оправдаться – это можно, да не спросят, вот беда»

В тот день я увидел директора театра с очень озабоченным лицом. Он сказал мне: «Понимаешь, Мольер, какая петрушка: твою пьесу сняли. Так что платить за вредную пьесу уже не следует (но именно тогда он заплатил!). А нас с тобой, Сухово-Кобылин, вызывают на идеологическую комиссию».

Он передал мне приглашение. Я все-таки попытался выяснить, за что сняли мою пьесу.

Он сказал: «Понимаешь, старик, ты там муссируешь (было такое идеологическое словцо. – Э.Р.) вредную проблему отцов и детей, которая, как всем известно, в нашей жизни отсутствует. У нас, как опять же всем известно, – великое единство поколений».

Я был уверен тогда, что единство поколений есть только на кладбище, о чем я ему сказал. Он хлопнул меня по плечу и попросил запомнить навсегда «важную» строчку классика: «Оправдаться – это можно, да не спросят, вот беда».

И я пошел на идеологическую комиссию. Пошел с большим интересом, ведь до этого не бывал в подобных начальственных сферах.

В зале сидело множество седовласых мужчин. Я сел в конце зала. Вышла ОНА. Она была очень привлекательна. Кто была она, знала вся страна.

Не так давно ее портрет вместе с другими портретами Всемогущего Политбюро украшал здания во время наших славных праздников. И хотя теперь она не была членом Всемогущего, но занимала ответственный пост в нашей идеологической стране – министр культуры. Это была Екатерина Алексеевна Фурцева, по прозвищу Екатерина Великая. Или просто – Она, как называли ее во вверенном ей министерстве.

Екатерина Алексеевна рассказала об «идеологических ошибках, допущенных отдельными деятелями» нашей в целом славной культуры. И, в частности, о вредной проблеме отцов и детей, которая муссируется в «некоторых произведениях отдельных драматургов». Здесь она назвала мою пьесу и мою дотоле неизвестную этой аудитории фамилию.

Передо мной сидел в отличном костюме седовласый драматург Георгий Мдивани. После второго упоминания обо мне, когда начали оборачиваться, ища зловредного литератора, я на него пальчиком и показал. И когда в очередной раз она назвала мое имя, все обернулись на него. Он, решил, что с ним здороваются и радостно закивал в приветствии.

Мою пьесу сняли.

Еще раз про любовь

И вот тогда-то я написал пьесу, которую, в общем-то, считаю первой своей пьесой. Когда вы пишете правду, очень важно, чтобы вам повезло с героем.

Мне повезло с героиней. Для меня она была в какой-то мере «князем Мышкиным» в юбке. Писал я эту пьесу больше для себя, без всякой надежды что ее поставят. И начиналась она по тем временам непозволительно: молодой человек знакомится в кафе с девушкой, приводит ее к себе домой. И, как солнечный удар, – их первая ночь, потом утро.

... Утром он весело прощается с нею – уходит очередная случайная девушка. Он видит в окно, как она идет по двору своей танцующей походкой. Но когда она уходит, комната становится пустой. Он чувствует безмерную тоску и пустоту. И подушка пахнет ее волосами...

Так начинается их история. Начинается как бы с конца – с обладания... И уже потом они оба попадают, как под поезд, в эту мучительную любовь. Ибо все их прошлое, легкость связей, молодая радость необязательности – все прежнее мстит им.

Я отнес пьесу в Театр Ленинского комсомола. Директор прочел ее с доброй улыбкой... В улыбке было: ты хочешь снова на идеологическую комиссию, но я не хочу!

И все бы, наверное, на этом закончилось, если бы... Если бы в это время в театр не был назначен главный режиссер – Анатолий Васильевич Эфрос. У него была одна особенность, которая по тем временам была странной, даже дикой. Если он читал пьесу и она ему нравилось, он тотчас начинал ее репетировать. Он совершенно не заботился о том, что считалось главным – разрешат ли ее.

Короче, он прочел эту пьесу и даже как-то расчувствовался... И тотчас начал распределять роли. Счастливая полоса жизни вновь возвращалась.

На роль Ее после многих моих и его сомнений Эфрос назначил Ольгу Яковлеву. Он явно не был уверен, но других молодых героинь в театре не было.

Когда она произнесла первую фразу, сомнения закончились. И его и мои.

Это были удивительные репетиции. Эфрос почти не делал ей замечаний. Он с каким-то изумлением смотрел на сцену. Она была, действительно, та самая девочка с московской улицы. Я редко потом видел, чтобы вот так, сразу присвоили роль – сделали ее своей жизнью.

(Пожалуй, всего один раз, во время съемок фильма «Еще раз про любовь». Тогда на главную роль пробовался Владимир Высоцкий. И текст пьесы тотчас стал его текстом. Он порой говорил «от себя». А я уже не мог понять, где были его слова, где мои. Но начальство на «Мосфильме» – объединением руководил знаменитый Иван Пырьев – ультимативно не утвердило его на роль. Его имя тогда пугало.)

... Возвращаясь к Яковлевой. Она раскрывала со сцены некие женские тайны. О слезах со смехом после, о яростных истериках... Все это, по-моему, страшно озадачивало Эфроса – он всего этого не знал.

Вот так Яковлева вышла на сцену дебютанткой, а закончила репетиции первой актрисой его театра!

Эфрос и Яковлева – история для романа об Актрисе и Режиссере. Была такая пьеса в начале прошлого века, о гипнотизере, который влюблен в маленькую актриску. Но когда он ее гипнотизировал, она становилась великой. Потом она влюблялась в другого, уходила от него, уже поверив, что играет сама, что она – великая актриса. И тогда его гипноз заканчивался, и

она... тотчас становилась маленькой актриской. Волшебство прекращалось. «На пороге сидит его старуха, пред нею разбитое корыто».

Когда умер Эфрос, я очень боялся, что также как с той актриской, будет и с Яковлевой. Я ошибся. Она осталась замечательной Актрисой. У нее были интереснейшие роли и после него, но играла она так мало... Мне кажется, что без него ей просто стало неинтересно в театре.

«Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России!»

Но возвращаюсь в то время.

Во время репетиций Эфроса я получил очередной дар столь щедрой тогда судьбы. В главном театре страны, которым, бесспорно, был тогда Большой драматический театр в Ленинграде под руководством Георгия Товстоногова, тоже взяли мою пьесу. И меня позвали в Ленинград.

Наверное, со времен великого МХАТа не было такой труппы, как в БДТ. Иннокентий Смоктуновский и Павел Луспекаев, Евгений Лебедев и Виталий Полицеймако, Олег Басилашвили и Кирилл Лавров, Сергей Юрский и Владислав Стржельчик, Ефим Копелян и Олег Борисов. Главной героиней в театре была тогда Татьяна Доронина. И рядом с ней звезды – Зинаида Шарко, Эмма Попова.

Я приехал в БДТ на репетиции собственной пьесы. От усердия приехал за два дня до начала репетиций.

И в те два вечера я увидел два знаменитых спектакля.

Первым были горьковские «Варвары».

... В горящем рыжем парике Татьяна Доронина стояла на фоне стены, раскинув руки, будто распятая. Языческая Венера, которую распинают жалкие варвары.

Она играла жену жалкого акцизного чиновника, смешно помешанную на романах о любви. Но это было высокое помешательство – сродни помешательству Дон-Кихота. Это был вечный конфликт, который она будет играть всю жизнь – мечта и обыденность, жажда полета и жалкая обыкновенность.

На следующий день я смотрел «Горе от ума».

С тех пор я видел множество спектаклей. Но до сих пор уверен: кто не был в театре на товстоноговском «Горе от ума», тот не был в театре. На сцене был мираж пушкинского Петербурга. В то время я считал грибоедов-скую пьесу сборником блестящих реплик, великолепных афоризмов, блестяще написанных ролей. По этой пьесе составляли труппу, ибо в ней есть все амплуа. Но ее содержание было для меня абсолютно условным и главный конфликт совершенно надуман. Софья – умная, злая, высокомерная красавица, в нее влюблен блестящий, победительный Чацкий. Но она почему-то предпочитает холопа Молчалии, туповатого и, главное, жалкого.

В тот вечер в театре Товстоногова я впервые понял опасное содержание пьесы. Точнее, режиссер понял, а еще точнее – его научило наше время.

На занавесе был эпиграф, определявший смысл товстоноговского спектакля: «Догадал же меня черт с душой и талантом родится в России!» Зал впервые узнавал, что эти слова написал не какой-то злой русофоб, но «наше все» – величайший А.С.

В спектакле были совершенно неожиданные Молчалин и Чацкий. Чацкий (его играл Юрский) – с хохолком, стремительный, очень похожий на академика Ландау. Этаким современный интеллектual из НИИ, с быстрой небрежной речью. И рядом с ним умный Молчалин! Точнее, разумный. Разумный... нашим разумом. Если Чацкий борется с обстоятельствами, то Молчалин, его играл Кирилл Лавров, уверенно следует за ними, он такой, как время. И если сегодня надо холопничать, он готов унижаться перед собачкой дворника. Но если завтра наступит время смелости, он вмиг станет супер-Чацким...

Товстоногов умер в начале перестройки, но он успел повидать, как все Молчалины тотчас стали Чацкими, и даже Репетиловы к ним примкнули.

Нос

И вот он наступил мой день. После двух великих спектаклей БДТ я пришел на репетицию своей пьесы. Репетировали знаменитости – Татьяна Доронина, Михаил Волков, Олег Борисов, Олег Басилашвили, Владимир Рецептер, Зинаида Шарко... Такой состав был в пьесе начинающего драматурга.

Все они сонно слонялись по сцене и вяло произносили, точнее бормотали, мой текст. Текст стал ужасен.

Между ними бегал молодой режиссер – объяснял им, что они играют новую пьесу нового драматурга. Они по-прежнему цедили текст и всем видом показывали, как они не хотят играть пьесу нового драматурга, а хотят играть старого драматурга Грибоедова и не очень молодого драматурга Горького.

Они демонстративно скучали. Иногда их немного развлекала декорация. Над ними нависал некий угол. И порой очень неожиданно этот угол с диким грохотом начинал двигаться, вызывая приступы их веселья и крики негодующего режиссера. Он никак не мог унять этот проклятый угол.

Мне очень хотелось все бросить и уехать из Ленинграда. Я хотел уехать к Эфросу, у которого так хорошо («гениально!») шли репетиции.

Но я был рациональным молодым человеком. И продолжал приходить на эту адскую муку.

Случилось это накануне отъезда. Я, как обычно, мучился, глядя на сцену, когда сзади услышал дыхание. Кто-то нестерпимо громко дышал, будто хотел захватить весь воздух. Когда я обернулся, увидел... только нос! Это был невероятный, какой-то гоголевский нос! У знаменитого художника Альберто Санчеса есть такая скульптура – нос и на нем огромные очки.

Вот это я и увидел.

Но когда я вновь обернулся на сцену, я никого и ничего не узнал. На сцене стояли совершенно другие актеры. Горящие глаза, вдохновенные лица! Это были солдаты, слышавшие звук боевой трубы! И текст, столь отвратительный минуту назад, звучал совсем по-иному.

Это был Он – тот, про кого тогда в Ленинграде говорили: «Нет бога, кроме Гога!» И только безумец мог спросить – кто такой этот Гога? Для людей театра Гога был только один – Георгий Александрович Товстоногов, художественный руководитель БДТ и великий режиссер.

Через секунду Гога уже стоял на сцене. Он шептал актерам, заклинал, показывал, священнодействовал...

И они вновь стали великими. И текст... Текст с каждым мгновением обретал все больший смысл! И грохотавший угол, который невозможно было унять, мгновенно затих, стал двигаться бесшумно.

И, наконец, она – Доронина... Нет, она теперь не играла случайную девочку с московской улицы, она была таинственной женщиной, у которой губы пересыхают от жажды любить.

Однажды во время репетиций Эфрос сказал:

– У нас только одна задача – приподнять пьесу.

Приподнять – значит открыть в ней притчу. За временным увидеть вечное.

На моих глазах Товстоногов творил это волшебство.

И угол, теперь бесшумно двигавшийся над героями, стал крылом самолета, в котором погибнет героиня.

И еще вечным ножом гильотины – Смертью, которая всегда таится рядом с Любовью. И была понятна неотвратимость того, что случится...

На сцене сквозь обыденные слова начинала звучать какая-то странная мелодия. И я вспомнил... Это были стихи Оскара Уайльда:

Мы все убиваем тех, кого любим.
Кто трус – поцелуем, кто смелый – ножом.
Но мы все убиваем тех, кого любим...

Я вернулся в Москву. Я был счастлив. Слишком счастлив. Опасайтесь, друзья мои, быть слишком счастливыми.

Ночной звонок

Ночью раздался он – звонок телефона. И прелестный женский голос (который я тогда так хорошо знал) ласково сказал мне:

– Ну и как – ты счастлив?

– Счастлив, – ответил я элегически.

В ответ зазвучали стальные нотки (очаровательное создание работало редактором в Министерстве культуры):

– Тогда приготовься: твою пьесу снимают.

– То есть как?!

– То есть так: о ней приготовлено постановление.

– ???

– Дело в том, что наш министр Екатерина Алексеевна Фурцева... как и положено истинной Екатерине Великой... много любила. Говорят, даже резала себе вены от любви. Но, как бывает с много любившими дамами, вступив в возраст и в чин, она стала особенно нравственной. А твоя пьеса... это не надо тебе объяснять... очень безнравственная. Там молодой человек спит с девушкой сразу, в первый же день... нет, в первый же вечер знакомства. Короче, послезавтра театр Ленинского комсомола вызван на наш не очень мягкий ковер и уже приготовлено постановление об этом театре. Не могу не обрадовать: твоя пьеса его возглавляет.

– А что же мне делать?

– Умереть.

И повесила трубку.

На следующий день я позвонил в Большой драматический, в Ленинград. Ответила знаменитая заведующая литературной частью, которая всегда была так приветлива и нежна. Теперь ее голос был лишен привычных приятных ноток. На мой вопрос: «Как дела со спектаклем?», – она сухо сообщила, что как только я уехал, заболела актриса, и репетиции временно прекращены.

И торопливо повесила трубку.

В театр Ленинского комсомола я дозвониться никак не мог. Директор исчез, у Эфроса телефон молчал. Весь день я думал, что же мне делать.

И решил пойти на грозное заседание.

«А мы с вами уже не умеем любить»

Приглашения у меня не было. Заседание начиналось в 10 утра. С половины десятого я начал прогуливаться у входа в Министерство культуры. Я ждал. Наконец он появился – директор театра. Он поглядел на меня с ужасом, как на восставшего из могилы покойника. Вместо того чтобы спокойно отдыхать во гробе – продолжает зачем-то торчать среди живых. Он спросил:

- А что вы тут, собственно, делаете?
- Я ответил бодро:
- А меня пригласили... – и почему-то засмеялся.
- Он как-то удивленно сказал:
- Ну, пойдемте.

Он был свой человек в министерстве. Так что, оживленно беседуя с ним, я прошел мимо охраны в святая святых. Не спросили ни пропуска, ни приглашения – идиллическое, дотеррорное время...

Зал был полон. Все смотрели на дверь. Наконец дверь распахнулась. И она буквально ворвалась в зал. Вот так, наверное, вылетает потревоженная медведица из берлоги. Взглянув огненно на бедного директора, она сказала:

– Встаньте!

Он встал.

– Почему по городу развешаны эти афиши – «Сто четыре способа любви»?

Директор знал свое дело. Он молчал, и взгляд его был полон раскаяния.

– Молчите? – сказала она трагически. – А знаете ли вы количество абортс среди несовершеннолетних?

Этого директор не знал. Но раскаялся еще больше.

– А я знаю... Я знаю количество абортс среди несовершеннолетних, – повторила она каким-то плачущим голосом. – И вот в это время Театр имени Ленинского комсомола... Ленинского комсомола! – грозно повторила она, – ставит пьесу про шлюшку, которая все время залезает в чужие постели...

Наступила тишина. И в этой тишине, видимо, не выдержав напряжения, я неожиданно для себя... встал.

И сказал:

– Екатерина Алексеевна, там ничего этого нет. И вы неправильно называли пьесу. Она называется: «Сто четыре страницы про любовь».

Я много потом думал, что такое тишина. Есть описание тишины в лесу, тишины в горах... но тишину, которая наступила тогда, описать отчаиваюсь. Это была какая-то сверхтишина, оцепенение, финал «Ревизора».

Наконец она спросила:

– А кто вы такой?

Я ответил:

– Я – автор пьесы.

Зал несколько ожил – и я даже услышал легкий смешок. Ибо выглядел я тогда лет на шестнадцать, наверное. К тому же для солидности у меня росли какие-то прозрачные усы – вид был отвратительный.

– Вы – член партии? – спросила она грозно.

– Я – комсомолец.

По залу снова пронесся легкий смех. Они никогда не видели в этом зале драматургов-комсомольцев.

Тут она как-то сбилась. Я это почувствовал.

Она сказала:

– Сядьте. Мы дадим вам слово.

И предоставила слово своему заместителю.

Замминистра не был оригинален. Он сказал, что сейчас, когда среди несовершеннолетних такое количество аборт, в Театре имени Ленинского комсомола репетируется пьеса, где «шлюшка постоянно залезает в чужие постели»...

Тут он опрометчиво сделал паузу. Тотчас встал я и сказал:

– Там ничего этого нет. Вы просто не читали пьесу.

... И начался театр...

Екатерина Алексеевна (грозно):

– Сядьте! И немедленно!

Я сел.

Следующим выступал главный редактор газеты «Советская культура». Нельзя сказать, что и он захотел быть оригинальным. Он объявил, что теперь, когда количество аборт среди несовершеннолетних так велико, в это трудное для молодежи время, Театр имени Ленинского комсомола ставит пьесу про «шлюшку»...

Здесь я тотчас поднялся и сказал:

– Ничего этого в пьесе нет. Вы тоже не читали пьесу.

Она:

– Я поняла. Вы решили сорвать наше заседание. Идите и выступайте.

Я должен был умирать от страха... но я умирал от ярости! На меня с большим любопытством смотрел зал. Предстояло нечто вроде корриды, где человек идет на быка, но без шпаги. Просто идет, и все.

Но я сумел сказать себе – никакой ярости! Ты должен, как твоя героиня, их всех любить. Они несчастные.

И я начал рассказывать. Я рассказывал правду, потому что я не писал пьесу про «шлюшку». Это была вечная история про молодого человека, который ведет ту обычную, веселую и легкую жизнь, которую во все времена вели и будут вести молодые люди. И которую люди пожилые будут именовать «распутством». Он вовлекает в эту жизнь случайную девушку и... и в нее влюбляется! И она тоже. История, тысячу раз рассказанная... и всегда новая. Но любовь – это обязательно пробуждение высокого, чистоты, это – бремя, страдание... Потому что, если этого всего нет, то это скорее следует назвать собачьей страстью, мощным сексуальным порывом... и прочим. Именно «прочим», но не любовью.

Потом министрами культуры перебивало много тухлых мужчин с тухлыми глазами. Их никогда нельзя было ни в чем переубедить. А вот она была женщиной. Прекрасной женщиной. В этом было все.

В этом, думаю, была и ее гибель.

Уже в начале моей длинной речи о любви она вся повернулась ко мне... Она слушала. И не просто слушала.

От напряжения я сразу охрип, и она подала мне воду.

– Не волнуйтесь, – говорила она нежно.

А я видел ее руки с рубцами от бритвы...

И когда я окончил, она долго молчала. Потом сказала:

– Как нам всем должно быть сейчас стыдно...

Я подумал, она скажет, «... что мы с вами не читали пьесу».

Она сделала паузу и сказала куда лучше:

– ... Что мы с вами уже не умеем любить.

И далее была неумолима. Она вновь предоставила слово своему заместителю.

Замминистра рассказал, как важно для молодежи умение любить – особенно сейчас, когда такое количество абортот среди несовершеннолетних. Потому что любовь облагораживает молодежь, делает ее чище.

Затем она дала слово главному редактору «Советской культуры». Он тоже отметил, что умение любить облагораживает, и потому количество абортот среди несовершеннолетних после постановки Театра имени Ленинского комсомола сократится...

Я хорошо помнил слова маркиза де Кюстина: «Нигде в мире нет такого количества вельможных рабов, как в России». И знаменитую фразу Чернышевского помнил: «Все рабы – снизу доверху».

Все это я читал, но впервые увидел, как это наглядно демонстрировали.

Мы шли по улице со счастливейшим директором театра. Он сказал:

– Думаю, этак театров сто сейчас будут репетировать твою пьесу.

Я радостно согласился.

Но он ошибся. Их было 120.

По пьесе сняли фильм «Еще раз про любовь».

А потом моя Стюардесса перелетела через наши границы. Спектакль дружно ставили все «братские страны», и даже ФРГ.

За границу, даже в «братские страны», меня не выпустили, но мне переслали фотографии спектаклей. И я радовался, видя: Она – в Польше, Она – в ФРГ, Она – в Венгрии, Она – в Болгарии, Чехословакии, Румынии...

И вышла статья одного из самых модных тогда критиков Инны Вишневской в «Вечерней Москве». Текст звучал так: «Однажды Ермолова, Мартин Иден и драматург Эдвард Радзинский проснулись знаменитыми...»

Но газета напечатала: «известными».

С тех пор на десятилетия я остался «известным». Это и стало моим единственным титулом.

Все это время я ездил в Ленинград. Незадолго до этого пал Хрущев, и наступило столь частое на нашей любимой родине оледенение.

Квалификация держиморд в России всегда на высоте. Искусство хлебороба, столяра может исчезнуть. Но не умение «держат и не пущат». Оно – вечно.

В Ленинграде тотчас началось наступление на БДТ. В спектакле «Горе от ума» предложили снять эпиграф с пушкинскими словами: «Догадал же меня черт с душой и талантом родиться в России!»

Товстоногов согласился, чтобы спасти спектакль. Потом потребовали заменить Юрского, ибо его Чацкий своими монологами отсылал нас к современному «горю от ума». И Товстоногов опять согласился. Он все сделал ради спасения спектакля, который после этого фактически умер!

В это же время великий Гога готовил один из самых блестящих своих спектаклей. Это была пьеса Леонида Зорина «Римская комедия», где каждое слово отсылало к родным цезарям и родной империи.

После генеральной репетиции спектакля устроили обсуждение – здесь же, в зале. Обсуждали представители общественности. Как и положено тогда, это были люди, которые отлично понимали в искусстве – знатный карусельщик с завода и прочие знатоки плюс послушные критики и чиновники, руководившие искусством. И все они уничтожали великолепный спектакль и учили первого режиссера Европы, как и что ему надо ставить. Короче, Товстоногову было предложено снять спектакль. И вот здесь у него было два пути. Первый – безумный: сыграть Георгия Товстоногова, кумира тогдашнего театрального мира, и отказаться. И второй – наш, обычный, то есть разумный: подумать о будущем своего театра, о том, что впереди еще много чего, и сыграть другого Товстоногова – лауреата Ленинской и Государственной премий. То есть остаться сидеть на коленях у власти и снять спектакль.

И он снял.

Но произошла беда. Трансляция из зала, где шло позорное побоище, была не выключена. В актерских уборных услышали обсуждение спектакля: как неуважительно разговаривали с великим режиссером, и как он уступил.

Мне кажется, именно с этого обсуждения – с этой капитуляции – что-то изменилось в жизни великого театра. И хотя у Товстоногова еще будут прекрасные спектакли, но... Но почему-то из театра начали уходить замечательные актеры – Смоктуновский, Доронина, Юрский. И вообще, что-то разладилось. И в игре актеров, и в репертуаре. Посмотрев как-то свой старый спектакль, великий Гога сделал беспощадные замечания актерам. Он сказал:

– Я не хотел бы пережить свой театр.

Он не пережил. Его театр оставался великим, когда он умер.

Все это я наблюдал. И решил написать об этом пьесу «Снимается кино». Здесь был наш каламбур: снимается кино (как процесс) и снимается, то есть запрещается. Герой – режиссер... Я решил тогда обозначить, что он немолод, и написал в ремарке: «ему уже 30 лет».

И вот в этом человеке живет Двойник. Как в американском фильме ужасов. Но это «наш Двойник» – внутренний редактор, а точнее – страх.

И этот страх превращает всю его жизнь в цепь очень благородных слов и не очень благородных поступков. Точнее – «наших поступков». Он все время уступает: редактору, уничтожая лучшие сцены в фильме, который снимает; жене – отказываясь от девушки, которую любит... Но при этом очень мучается...

Был такой очаровательный анекдот.

Чем отличается интеллигентный человек от неинтеллигентного человека? Неинтеллигентный человек знает, что дважды два четыре, интеллигентный тоже знает, что дважды два четыре, но... нервничает.

Мой герой тоже интеллигентно нервничает, мучается. Но почему-то в результате его нервных мучений ломают себе шею другие, а он остается страдать, но в весьма комфортабельных условиях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.